

Сказки Ханса Кристиана Андерсена. Двенадцать пассажиров



Мороз так и трещал; визвездило; воздух словно застыл. «Бумс!» – о двери разбился горшок. «Паф!» – выстрел приветствовал Новый год. Это было в ночь под Новый год, и часы как раз пробили двенадцать.

«Тра-та-та-ра!» Пришла почта. У городских ворот остановился почтовый дилижанс, привезший двенадцать пассажиров; больше в нём и не умещалось; все места были заняты.

«Ура! Ура!» раздалось в домах, где люди собрались праздновать наступление Нового года. Все встали из-за стола с полными бокалами в руках и принялись пить за здоровье Нового года, приговаривая:

«С Новым годом, с новым счастьем! – Вам славную жёнку! – Вам денег побольше! – Конец старым дрязгам!» Вот какие раздавались пожелания! Люди чокались, а дилижанс, привёзший гостей, двенадцать пассажиров, остановился в эту минуту у городских ворот.

Что это были за господа? У них были с собой и паспорта и багаж, подарки для тебя, и для меня, для всех в городе. Кто же

такие были эти гости? Что им надо было тут и что они привезли с собою?

– С добрым утром! – сказали они часовому у ворот.

– С добрым утром! – ответил он, – часы, ведь, уже пробили двенадцать.

– Ваше имя? Звание? – спросил часовой у первого, вылезшего из дилижанса.

– Взгляни на паспорт! – ответил тот. – Я – я!

Это был парень здоровый, в медвежьей шубе и меховых сапогах.

– Я тот самый, на кого уповают столько людей. Приди ко мне утром, я дам тебе на чай! Я так и швыряю деньгами, дарю подарки, задаю балы! Тридцать один бал! Больше ночей я тратить не могу. Корабли мои, правда, замёрзли, но в конторе у меня тепло. Я – коммерсант, зовут меня Январь. У меня с собою только счета.

Затем вылез второй – «увеселительных дел мастер», театральный директор, распорядитель маскарадов и других весёлых затей. В багаже у него была огромная бочка.

– Из неё мы на масленице выколотим кое-что получше кошки!^[1] – сказал он. – Я люблю повеселить других, да и себя самого кстати! Мне, ведь, уделён самый короткий срок! Мне дано всего двадцать восемь дней; разве иногда прикинут лишний денёк! Но всё равно! Ура!

– Нельзя кричать! – заявил часовой.

– Мне-то? Я – принц Карнавал, а путешествую под именем Февраля!

Вышел и третий; вид у него был самый постный, но голову он задирает высоко: он, ведь, был в родстве с «сорока мучениками» и числился пророком погоды. Ну да это должность не из сытных, вот он и выхвалял воздержание. В петлице у него красовался букет фиалок, только крошечных-прекрошечных!

– Март, марш! – закричал четвёртый и толкнул третьего. – Март, марш! Марш в караулку, там пунш пьют! Я чую. – Однако это было неправда: Апрелью всё бы только дурачиться – он с этого и начал. Смотрел он парнем разудалым, делами много не занимался, а всё больше праздновал. С расположением духа он вечно играл

то на повышение, то на понижение, то на понижение, то на повышение. Дождь и солнце, переезд из дома, переезд в дом. – Я, ведь, тоже состою квартирным комиссаром, сзываю и на свадьбы, и на похороны, готов и посмеяться и поплакать! В чемодане у меня есть летнее платье, но надеть его было бы глупо! Да, вот я! Ради парада я щеголяю в шёлковых чулках и в муфте!

Затем, из дилижанса вышла барыня.

– Девица Май! – отрекомендовалась она. На ней было лёгкое летнее платье и калоши; платье шёлковое, буково-зелёное, в волосах анемоны; от неё так пахло диким яминником, что часовой не выдержал, чихнул.

– Будьте здоровы! – сказала она в виде приветствия. Как она была мила! И какая певица! Не театральная, а вольная, лесная; да и не из тех, что поют в увеселительных палатках; нет, она бродила себе по свежему зелёному лесу и пела для собственного удовольствия. В ридикюле у неё лежали «Гравюры на дереве» Христиана Винтера^[2], – они поспорят свежестью с буковым лесом – и «Стишки» Рихарда^[3], – эти благоухают, что твой дикий яминник!

– Теперь идёт молодая дама! – закричали из дилижанса. И дама вышла. Молодая, изящная, гордая, прелестная! Она задавала пир в самый длинный день года, чтобы гостям хватило времени покончить с многочисленными блюдами. Средства позволяли ей ездить и в собственной карете, но она приехала в дилижансе вместе со всеми, желая показать, что совсем неспесива. Но, конечно, она ехала не одна; её сопровождал младший брат Июль. Июль – толстяк; одет по-летнему, в шляпе «Панама». У него был с собою очень небольшой запас дорожной одежды: в такую жару да возиться ещё! Он и взял с собою только купальные панталоны, да шапочку.

За ним вылезла матушка Август, оптовая торговка фруктами, владелица многочисленных садков, земледелец в кринолине. Толстая она и горячая, до всего сама доходит, даже сама обносит пивом рабочих в поле. «В поте лица своего ешь хлеб свой» приговаривала она. «Так сказано в Библии! А вот осенью –

милости просим! Устроим вечеринку на открытом воздухе, пирушку!» Она была молодец-баба, хозяйка хоть куда.

За нею следовал опять мужчина, живописец по профессии. Он собирался показать лесам, что листья могут и переменить цвета, да ещё на какие чудесные, если ему вздумается! Стоит ему взяться за дело, и леса запестреют красными, жёлтыми и бурыми листьями. Художник насвистывал что твой чёрный скворец, и мастер был работать! Пивную кружку его украшала ветка хмеля, – он вообще знал толк в украшениях. Весь его багаж заключался в палитре с красками.

Вылез и десятый пассажир, помещик. У него только и дум было, что о пашне, о посевах, о жатве, да ещё об охотничьих забавах. Он был с ружьём и собакою, а в сумке у него гремели орехи. Щёлк! Щёлк! Багажа у него было пропасть, между прочим даже английский плуг. Он что-то говорил о сельском хозяйстве, но его почти и не слышно было из-за кашля и отдувания следующего пассажира – Ноября.

Что за насморк у него был, ужасный насморк! Пришлось вместо носового платка заpastись целою простынёю! А ему, по его словам, приходилось ещё сопровождать служанок, поступающих на места! Ну, да простуда живо пройдёт, когда он начнёт рубить дрова. А он это непременно сделает, – он, ведь, был старшиной цеха дровосеков. Вечерами он вырезывал коньки, зная, что эта весёлая обувь скоро понадобится.

Вышел и последний пассажир – бабушка Декабрь с грелкою в руках. Она дрожала от холода, но глаза её так и сияли, словно звёзды. Она несла в цветочном горшочке маленькую ёлочку. «Я её выхожу, выращу к сочельнику! Она будет хватать от полу до потолка, обрастёт зажжёнными свечками, вызолоченными яблоками и разноцветными сеточками с гостинцами. Грелка согревает не хуже печки, я вытащу из кармана книжку со сказками и буду читать вслух. Все детки в комнате притихнут, зато куколки на ёлке оживут, восковой ангелочек на самой верхушке её затрепещет золочёными крылышками, слетит и расцелует всех, кто в комнате – и малюток и взрослых, и даже бедных деток, что стоят за дверями и славят Христа и звезду Вифлеемскую.»

– Теперь дилижанс может отъехать! – сказал часовой. – Вся

дюжина тут! Пусть подъезжает следующий!

– Пусть сначала войдут эти двенадцать! – сказал дежурный капитан. – По одному зараз! Паспорта остаются у меня. Каждому паспорт выдан на один месяц; по истечении срока я сделаю пометку о поведении каждого. Пожалуйста, господин Январь! Не угодно ли вам войти?

И тот вошёл.

Когда год кончится, я скажу тебе, что эти двенадцать пассажиров принесли тебе и мне, и всем остальным. Теперь я этого ещё не знаю, да и сами они не знают, – удивительные, ведь, времена у нас настали!

^[1]Старый обычай, долго державшийся в Дании: в бочку сажают кошку и начинают изо всех сил колотить по бочке, пока, наконец, не вышибут из неё дно, и кошка, как угорелая, не выскочит оттуда.

^[2]Христиан Винтер – один из выдающихся датских поэтов-лириков.

^[3]Христиан Рихард – один из выдающихся датских поэтов-лириков.

 Загрузка...

**Сказки Ханса Кристиана
Андерсена. Епископ
Берглумский и его родичи**



Вот мы и на севере Ютландии, севернее «Дикого болота». Тут уже слышится вой моря. Море, ведь, отсюда близёхонько, но его загораживает от нас песчаный холм. Холм этот давно у нас перед глазами, но мы всё ещё не доехали до него, медленно подвигаясь вперёд по глубокому песку. На холме возвышается большое, старинное здание; это бывший Бёрглумский монастырь; в самом большом флигеле его до сих пор – церковь. Мы доберёмся до вершины холма лишь поздно вечером, но погода стоит ясная, ночи светлые, так что можно ясно видеть на много-много миль кругом; с холма открывается вид на поля и болота вплоть до Ольборгского фиорда, на степи и луга, вплоть до тёмно-синего моря.

Ну вот мы и на холме, с грохотом катимся между гумном и овином и заворачиваем в ворота старого замка; вдоль стен его – ряды лип; тут они защищены от ветра и непогоды и разрослись так, что почти закрыли все окна.

Мы поднимаемся по каменной витой лестнице, проходим по длинным коридорам под бревенчатыми потолками. Как странно гудит здесь ветер: снаружи или внутри – не разберёшь. Жутко... А тут ещё эти рассказы... Ну, да мало ли что рассказывают, мало ли что видят, когда боятся сами или хотят напугать других! Рассказывают, что давно умершие монахи скользят по коридорам в церковь, где идёт обедня; звуки молитв прорываются сквозь вой ветра. Наслушаешься таких рассказов, и душою овладевает странное настроение: начинаешь думать о старине и так задумаешься, что

неволью перенесёшься в те времена.

О берег разбился корабль; слуги епископа уже на берегу; они не щадят тех, кого пощадило море; море смывает с берега красную кровь, струящуюся из проломленных черепов. Выброшенный морем груз становится добычей епископа, а его тут немало. Море выкатывает на берег бочки и бочонки с дорогим вином; всё идёт в погреба епископа, и без того битком набитые бочками с мёдом и пивом. Кухня его полным-полна битую дичью, колбасами и окороками; в прудах плавают жирные лещи и караси. Богат и могуществен епископ Бёрглумский! Много у него земли и поместий, но ему всё недовольно! Всё должно преклоняться перед Олуфом Глобом!

В Тю умер его богатый родич. «Родич родичу хуже врага» – справедливость этой пословицы пришлось испытать на себе вдове умершего. Муж её владел всеми землями в крае, кроме монастырских. Единственный сын находился в чужих краях, – он был отослан туда ещё мальчиком познакомиться с чужими нравами и обычаями, к чему так лежала его душа, но вот уже несколько лет о нём не было ни слуха, ни духа. Может быть, он давно лежит в могиле и никогда не вернётся больше на родину, хозяйничать там, где хозяйничает его мать.

«Что смыслит в хозяйстве баба?» сказал епископ и послал ей вызов на народный суд – тинг. Но что из того толку? Вдова никогда не преступала законов, и сила права на её стороне.

Епископ Олуф Бёрглумский, что замышляешь ты? Что пишешь на гладком пергаменте? Что запечатываешь восковой печатью и перевязываешь шнурком? Что за грамоту отсылаешь с рыцарем и оруженосцем далеко-далеко, в папскую столицу?

Начался листопад, завывали бури, пошли кораблекрушения, а вот и зима на дворе.

Два раза приходила она; в конце второй вернулись жданные посланцы. Они вернулись из Рима с буллой от папы, предававшей проклятию вдову, оскорбительницу благочестивого епископа. «Пусть ляжет проклятие на неё и на всё, ей принадлежащее! Она отлучается от церкви и от людей! Да не протянет ей никто руки помощи, родные и друзья да бегут от неё, как от чумы и проказы!»

– «Не гнётся дерево, так его ломают!» – сказал епископ Бёрглумский.

Все отвернулись от вдовы; но она не отвернулась от Бога; Он стал её единственным Покровителем и Защитником.

Только одна служанка, старая дева, осталась ей верна, и госпожа сама ходила вместе с нею за плугом. И хлеб уродился, даром что земля была проклята папою и епископом.

«Ах, ты исчадие ада! Постой! Будет же по-моему!» говорит епископ. «Рукою папы я достану тебя и привлеку на суд!»

Тогда вдова впрягает в телегу двух последних волов, садится на неё вместе со служанкою и едет по степи прочь из датской земли, в чужую страну, где все и всё ей чуждо: и люди, и язык, и нравы, и обычаи. Далеко-далеко заехала она, туда, где тянутся высокие, зелёные горные склоны, растёт виноград. Купцы, едущие с товарами, боязливо озираются с своих нагруженных возов, опасаясь нападения разбойничьих рыцарских шаек. Две же бедные женщины на жалкой телеге, запряжённой двумя чёрными волами, едут по опасной дороге и по густым лесам совершенно спокойно. Они теперь во Франции. Тут встречается им богато одетый рыцарь в сопровождении двенадцати оруженосцев. Он останавливается и смотрит на странную повозку, затем спрашивает женщин откуда, куда, и зачем они едут. Младшая из них называет датский город Тю, рассказывает про своё горе и обиду. Но тут и конец её невзгодам! Так было угодно Богу! Чужестранный рыцарь – сын её! Он протягивает ей руки, обнимает её, и мать плачет от радости, а она не плакала вот уже много лет – только кусала себе губы до крови.

Начался листопад, завывали бури, пошли кораблекрушения; море катит в погреба епископа бочки с вином. На вертелах в кухне жарится дичь. Уютно, тепло в замке, а на дворе мороз так и кусает. И вот разносится весть: Иенс Глоб из Тю вернулся домой вместе с матерью; Иенс Глоб вызывает епископа на суд Божий и людской!

«Много он возьмёт этим!» говорит епископ. «Оставь-ка лучше попечение, рыцарь Иенс Глоб!»

Опять начался листопад, снова завывали бури, пошли кораблекрушения; вот и зима на дворе. В воздухе порхают белые

пчёлы и жалят в лицо пока не растают.

«Холодно сегодня!» говорят люди, побывав на дворе. Иенс Глоб стоит у огня, думает думу и прожигает на платье большую дыру.

«Ну, епископ Бёрглумский! Я таки осилю тебя! Закон не может достать тебя под плащом папы, но Иенс Глоб достанет!»

И он пишет своему зятю Олуфу Газе Саллингскому письмо, назначает ему в сочельник свидание в Видбергской церкви, у заутрени. Епископ сам будет служить её, для чего и отправляется из Бёрглума в Тю. Иенс Глоб знает это.

Луга и болота покрыты льдом и снегом; лёд и снег окрепли настолько, что могут сдержать лошадей со всадниками, целый поезд; то едет епископ с канониками и слугами. Они едут кратчайшею дорогою между хрупким тростником; печально шелестит в нём ветер.

Труби в свой медный рог, трубач в лисьей шубе! Звуки гулко разнесутся в морозном, ясном воздухе. Поезд подвигается вперёд по степям и болотам, где летом расстилаются луга Фаты-Морганы; направляется он к югу, к Видбергской церкви.

А ветер трубит в свой рог сильнее трубача; вот завывала буря, разыгралась непогода. Путь епископа лежит к Божьему дому. Дом Божий стоит крепко, как ни свирепствует вокруг него над полями, над болотами, над фиордом и морем страшная буря. Епископ Бёрглумский доехал до церкви вовремя, а вот Олуфу Газе вряд ли это удастся, хоть он и гонит лошадь изо всех сил. Он спешит на помощь Иенсу Глобу, вызвавшему епископа на суд Всевышнего. И вот, Олуф Газе подъезжает к фиорду... Скоро дом Божий станет судилищем, Престол – судейским столом; в тяжёлых медных подсвечниках затеплятся свечи; буря прочтёт жалобу и приговор. Отголоски их разнесутся по воздуху, над болотами, степью и бурным морем. Но через фиорд в такую погоду нет переправы!

Олуф Газе останавливается у Оттезунда, отпускает своих людей, дарит им лошадей и вооружение, даёт отпускные листы и велит свезти поклон своей супруге. Один хочет он довериться бушующим волнам, а слуги пусть засвидетельствуют, что не его вина, если Иенс Глоб останется в Видбергской церкви без подкрепления. Но верные слуги не хотят отстать от своего господина и бросаются

вслед за ним в глубокие волны. Десятеро из них тонут, но сам Олуф Газе и ещё двое отроков выплывают на противоположный берег. Им остаётся ещё четыре мили пути.

За полночь; канун Рождества. Ветер улёгся; церковь освещена. Яркий свет льётся сквозь окна на луга и степь. Заутреня давно отошла; в Божьем доме тишина; слышно, как каплет воск со свечей на каменный пол. Является Олуф Газе.

В притворе встречает его Иенс Глоб: – Здравствуй! Я помирился с епископом!

– Вот как! – отвечает Олуф. – Так ни ты, ни епископ не выйдете живыми из церкви!

И меч Олуфа Газе сверкает из ножен, вонзается и расщепляет дверь, которую успел захлопнуть между собой и зятем Иенс Глоб.

– Повремени, дорогой зять! Погляди сперва, каково примирение! Я убил епископа со всеми его людьми! Не придётся им больше распространяться об этой истории, да и я не стану больше говорить о той обиде, что понесла моя мать!

Фитили восковых свечей горят красными языками; ещё краснее свет разливается по полу. Тут плавает в крови епископ с раздробленным черепом; убиты и все его спутники. Тихо, безмолвно в Видбергской церкви в ночь под Рождество.

На третий день праздника в Бёрглумском монастыре зазвонили в колокола. Убитый епископ и его слуги выставлены напоказ в церкви; тела покоятся под балдахином, кругом стоят обвёрнутые крепом подсвечники. В парчовой ризе, с посохом в безжизненной руке, лежит епископ, некогда могущественный повелитель края. Курится ладан, монахи поют. В пении их звучит жалоба, злоба и осуждение. Ветер подтягивает им и разносит эти звуки по всей стране. Ветер утихает, успокаивается на время, но не навеки. Время от времени он просыпается и опять принимается за свои песни. Он распекает их и в наше время, поёт здесь, на севере Ютландии, о епископе Бёрглумском и его родиче. Песни его слышатся тёмною ночью; испуганно внемлет им крестьянин, проезжающий по тяжёлой песчаной дороге мимо Бёрглумского монастыря; внемлет им и бессонный обитатель толстостенных покоев Бёрглума. Вот почему так странно и шелестит по длинным, гулким коридорам, ведущим к церкви. Вход в неё давно заложен,

закрит, но не для суеверных очей. Им мерещатся открытые двери: ярко горят свечи в паникадилах, курится ладан, церковь блещет прежним великолепием, монахи отпевают умершего епископа, что лежит в парчовой ризе, с посохом в бессильной руке. На бледном, гордом челе зияет кровавая рана; она горит, как огонь; таким огнём выжигаются дурные страсти детей света. Прочь! Скройтесь в землю, покройте мраком забвения ужасные воспоминания старины!

□Прислушайся к порывам ветра; они заглушают шум катящихся волн морских. Разыгралась буря; многим людям будет она стоить жизни! Нрав моря не изменился с годами. В эту ночь оно является всепоглощающею пастью, утром же, может быть, опять станет ясным оком, в котором можно видеть себя, как в зеркале. Так же бывало и в старину, которую мы только что схоронили. Спи же спокойно, если можешь!

Вот и утро.

Новые времена светят в нашу комнату вместе с лучами солнца. Ветер всё ещё бушует. Приносят весть о кораблекрушении, – то же бывало и в старину.

Ночью, у Лёкке, маленькой рыбацкой слободки, застроенной домиками с красными черепичными крышами – её видно отсюда из окон – разбился корабль. Он сел на мель далеко от берега, но спасительная ракета перебросила мост между тонущим судном и твёрдую землю. Все спаслись, вышли на берег и нашли себе приют и ночлег у рыбаков. Сегодня же их перевели в Бёрглумский монастырь. В уютных покоях их встречает радушный приём и привет на родном языке. С клавиш льются звуки родных мелодий, и не успеют ещё они замереть, как зазвучит иная струна, безмолвная и в то же время полная звуков: вестник мысли сообщит семьям потерпевших крушение в чужой земле о их спасении. Родные успокоены; с души спасённых сваливается бремя, и в замке Бёрглум поднимается пляс и веселье. Протанцуем же старинный вальс, споем песни о Дании и о «храбром ополченце» нового времени!

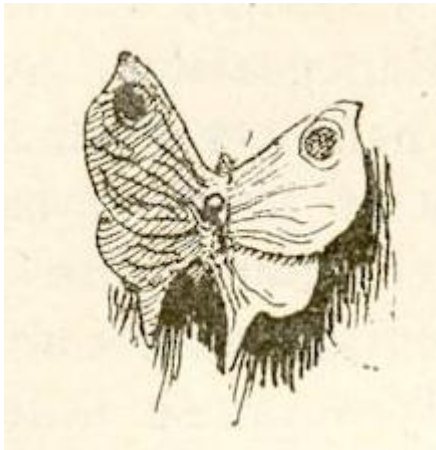
Благословенно будь ты, новое время! Вступай в страну, как новое лето! Свети своими лучами в сердца людей! Быстро

промелькнут на твоём светлом фоне воспоминания о старых, суровых, жестоких временах!

✘ ✘ ✘ ✘ ✘

✘ Загрузка...

Сказки Ханса Кристиана Андерсена. Мотылёк



Мотылёк вздумал жениться. Конечно, ему хотелось взять за себя хорошенький цветочек.

Он посмотрел кругом: цветочки сидели на своих стебельках тихо, скромно, как и подобает ещё непросватанным барышням, но выбрать было ужасно трудно – так много их было.

Мотыльку скоро надоело раздумывать, и он порхнул к полевой ромашке. Французы зовут её маргариткой и уверяют, что она умеет ворожить. По крайней мере, влюблённые всегда прибегают к ней, обрывают лепесток за лепестком и приговаривают: «Любит всем сердцем? всюю душою? очень? чуть-чуть? ни капли?», или нечто в этом роде; всякий, ведь, спрашивает по-своему. И мотылёк тоже обратился к ромашке, но не стал обрывать лепестков, а перецеловал их, думая, что всегда лучше

действовать добром.

– Матушка-маргаритка, полевая ромашка, мудрейшая из цветов! – сказал он. – Вы умеете ворожить! Укажите же мне мою суженую! Тогда, по крайней мере, я сразу могу посвататься.

Но ромашка молчала, – она обиделась; она была девицей, а её вдруг назвали матушкой – как вам это нравится?

Мотылёк спросил ещё раз, потом ещё, ответа всё не было, он соскучился и прямо полетел свататься.

Это было раннею весной; всюду цвели подснежники и крокусы.

– Недурны! – сказал мотылёк. – Миленькие подросточки! Только... зеленюваты больно!

Мотылёк, как и все юноши, искал девиц постарше.

Потом он оглядел других и нашёл, что анемоны горьковаты, фиалки немножко сентиментальны, тюльпаны – щеголихи, белые лилии простоваты, липовые цветы и малы, да и родни у них пропасть, яблочные цветы, конечно, чуть-чуть не розы, но уж чересчур недолговечны: ветром пахнуло, и нет их, стоит ли тут жениться? Горошек понравился ему больше всех: бело-розовый, просто кровь с молоком, нежный, изящный, да и на кухне не ударит лицом в грязь, словом, девица хоть куда! Мотылёк совсем было уж собрался посвататься, да вдруг увидел рядом стручок с увядшим цветком.

– Это... кто же? – спросил он.

– Сестрица моя! – отвечал горошек.

– Так потом и вы такая же будете?

Мотылёк испугался и поскорее улетел прочь.

Через изгородь перевешивалась целая масса каприфолий; но эти барышни с вытянутыми жёлтыми физиономиями были ему совсем не по вкусу. Да, но что же было ему по вкусу? Пойдите, узнайте!

Весна прошла, прошло и лето, настала осень, а мотылёк не подвинулся со своим сватовством ни на шаг. Появились новые цветы в роскошных нарядах, но что толку? С годами сердце всё больше и больше начинает тосковать о весенней свежести, об оживляющем аромате юности, а не искать же их у осенних георгин и шток-роз! И мотылёк полетел к кудрявой мяте.

– На ней нет никаких особых цветов, но она вся один сплошной благоухающий цвет, её я и возьму!

И он посватался.

Но мята не шелохнула листочком и, наконец, сказала:

– Дружба и – больше ничего! Мы оба стары; друзьями мы ещё можем быть, но пожениться?.. Нет, что за дурачество на старости лет!

Так мотылёк и остался ни с чем. Он уж чересчур много выбирал, а это не годится, – вот и остался старым холостяком.

Скоро налетела непогода с дождём и изморосью; поднялся холодный ветер; дрожь пробирала старые скрипучие ивы. Несладко было разгуливать по такому холоду в летнем платье. Но мотылёк и не разгуливал, – ему как-то удалось залететь в комнату; там топилась печка, и стояло чисто летнее тепло. Жить бы да поживать здесь мотыльку. – Но что это за жизнь? Мне нужны солнце, свобода и хоть маленький цветочек! – сказал мотылёк, полетел и прямо ударился в оконное стекло.

Тут его увидели, пришли от него в восторг и посадили на булавку в ящичек с прочими редкостями. Большого для него уж не могли сделать.

– Теперь и я сижу на стебельке, как цветок! – сказал мотылёк.

– Не особенно-то это сладко! Ну да зато это нечто вроде женитьбы: тоже сидишь крепко.

И он утешался этим.

– Плохое утешение! – сказали комнатные цветы.

«Ну, комнатным цветам не очень-то верь!» думал мотылёк. «Они уж чересчур близко знаются с людьми».

✘ ✘ ✘ ✘ ✘

✘ Загрузка...

Сказки Ханса Кристиана

Андерсена. День переезда

Ты, ведь, помнишь колокольного сторожа Оле! Я рассказывал тебе о двух своих посещениях Оле, теперь расскажу и о третьем, но ещё не последнем.

Обыкновенно я навещал его около Нового Года, но на этот раз взобрался на колокольню в самый «день переезда». Внизу, на улицах, в этот день пренеприятно: всюду сор, осколки, черепки, обломки, не говоря уже о ворохах соломы, выкинутой из негодных матрацев!.. Шагаешь, шагаешь по ним!.. Да! пришлось таки мне пошагать! И вот, вижу в опрокинутой мусорной бочке играют двое ребятшек. Они затеяли игру «в спанье», – бочка так и манила улечься в неё. Они и влезли туда, зарылись в гнилую солому и накрылись вместо одеяла куском старых ободранных обоев – то-то любо! Но с меня было уже довольно, и я поспешил наверх, к Оле. – Сегодня «день переезда»! – сказал он. – Улицы и переулки превращаются в гигантские мусорные бочки, а мне довольно бывает и одного ящика: я и из него могу выловить кое-что и выловил таки однажды, вскоре после сочельника. Я спустился на улицу; было сыро, грязно, серо и холодно. Мусорщик остановился со своим возом у одного дома. Ящик его был полнѐхонек и мог бы послужить примерным образцом того, во что превращаются копенгагенские улицы в день переезда. Сзади на возу торчала ёлка, совсем ещё зелёная, на ветвях уцелела мишура; она покрасовалась в сочельник, а затем её выбросили на улицу, и вот, мусорщик водрузил её на свой воз. Смеяться было или плакать, глядя на эту картину? Это, зависит, конечно, от того, что думать при этом. Я смотрел на неё и думал; думали, вероятно, и кое-какие из сваленных в кучу предметов, или по крайней мере могли думать, а это, ведь, почти одно и то же. Лежала там, между прочим, разорванная дамская перчатка. О чём она думала? Сказать ли вам? Она лежала, указывая мизинчиком прямо на ёлку, и думала: «Мне жаль это деревцо! И я тоже была создана блистать при свете огней! И моя жизнь продолжалась одну бальную ночь! Пожатие руки – и я лопнула! Тут обрывается нить моих воспоминаний; больше мне не для чего было жить!» Вот

что думала или могла думать перчатка!

«Глупая история с этой ёлкой!» думал черепок от горшка. Черепки всегда и всё находят глупым. «Уж раз попала в мусорную кучу, нечего нос задирать и чваниться своею мишурой! Я-то вот знаю, что приносил пользу на свете, не то, что эта зелёная розга!»

Что ж, и такое мнение имеет много сторонников, но ёлка всё-таки смотрела очень красиво, вносила хоть немножко поэзии в эту мусорную кучу, а сколько таких куч на улицах в день переезда!.. Мне стало тяжело бродить по улицам, и меня потянуло к себе наверх. Тут я сижу себе да благодушно посматриваю вниз.

Вот теперь добрые люди играют там «в перемену квартир»! Они возятся, перетаскивают своё добро, а домовый сидит на возу и переезжает вместе с ними: домашние дрязги, семейные неурядицы, печали и заботы – всё перебирается из старого жилища в новое. Так какой же смысл во всей этой кутерьме? В «Справочной газете» давным-давно как-то было напечатано старое доброе изречение: «Помни о великом переезде в страну вечности!»

Вот серьёзная мысль, и, надеюсь, вам не будет неприятно послушать кое-что на эту тему? Смерть, несмотря на кучу дел, была и останется самым исправным чиновником. Вы когда-нибудь думали об этом?

Смерть – кондуктор, паспортист, выдающий нам аттестаты, и директор великой сберегательной кассы человечества. Понимаете вы меня? Все наши земные деяния – и большие, и малые, составляют наш вклад в эту кассу, и вот, когда смерть подъедет к нам со своим дилижансом, в котором мы должны отправиться в страну вечности, она выдаст нам на границе вместо паспорта наш аттестат! Вместо же суточных кормовых денег мы получим из сберегательной кассы то или другое наиболее характерное деяние наше. Для иного это очень приятно, для иного же ужасно!

Никто ещё не избегнул этого переезда в дилижансе смерти. Правда, рассказывают, что был один такой – иерусалимский башмачник, которому не позволили сесть в него. Ему пришлось бежать позади дилижанса. Но случись ему попасть туда, он бы ускользнул от поэтов! Загляните же когда-нибудь мысленно в

дилижанс смерти! В нём самое смешанное общество! Тут сидят рядом король и нищий, гений и идиот. Всем приходится пуститься в дальний путь налегке, без всякого багажа, без денег, с одним аттестатом, да с тем, что выдаст им из сберегательной кассы смерть. Какое же из всех деяний человека вынимает она из сберегательной кассы и даёт ему в дорогу? Может быть, самое маленькое, незаметное, как горошинка; но, ведь, из горошинки вырастает длинный цветущий стебель!

Жалкий бедняк, сидевший у порога и получавший толчки да пинки, получит, может быть, в дорогу этот самый порог. Но он сейчас же превратится в паланкин, в золотой трон или в цветущую беседку, в которой бедняка и отнесут в страну бессмертия.

Тот же, кто постоянно пил из роскошной чаши наслаждения, чтобы забывать содеянное им зло, получит в дорогу простую плошку с чистым, прозрачным питьём, проясняющим мысли. Человек пьёт его и видит то, чего прежде не хотел или не мог видеть. Наказание его в том гложущем черве совести, который никогда не умирает. Если на чаше земных наслаждений была надпись забвение, то на этой плошке будет написано воспоминание.

Когда я читаю хорошую книгу, историческое сочинение, я всегда задумываюсь над тем, какое деяние вынула смерть из сберегательной кассы и дала в дорогу такому-то или такому-то лицу, о котором я читаю. Вот, например, жил один французский король; имя его я позабыл, – имена добрых всегда забываются, но дела их нет-нет да и всплывут в памяти. Этот король явился в голодный год благодетелем своего народа, и народ воздвиг ему памятник из снега с надписью: «Помощь твоя являлась быстрее, чем тает этот памятник!» Я думаю, что смерть дала этому королю одну снежинку из его памятника, которая никогда не может растаять, и она проводила короля, порхая над его головой белою бабочкою, в страну вечности. А вот ещё жил другой король, Людовик XI^[1]; его имя я помню, – люди не забывают зла. Мне особенно памятно одно его деяние, и всякий раз, как я вспоминаю о нём, мне так и хочется назвать историю ложью. Он велел казнить своего коннетабля^[2]; ну, это он мог, справедливо или несправедливо – его дело; но у коннетабля были невинные

дети, один восьми, другой семи лет; так король велел и их привести на эшафот и обрызгать тёплой кровью отца! Затем он приказал посадить детей в Бастилию, в железную клетку; бедняжкам не дали даже одеяла, чтобы покрываться ночью. А король присылал к ним каждую неделю палача, которому было приказано вырывать у детей по зубу, чтобы им жилось «не слишком вольготно». И старший мальчик сказал однажды палачу: «Матушка умерла бы с горя, если бы знала, что мой маленький брат так страдает! Выдерни же лучше два зуба у меня и оставь его в покое!» У палача выступили на глазах слёзы, но воля короля была сильнее слёз, и королю еженедельно продолжали подавать на серебряном блюде по два детских зуба. Он требовал их и получал. Так вот, я думаю, что эти-то два зуба смерть и вынула из сберегательной кассы человечества и вручила их королю Людовику XI в дорогу, когда он отправился в страну вечности. И зубы невинных детей летели над ним двумя огненными пчёлами, жгли, жалили его всю дорогу!

Да, серьёзный путь предстоит нам в день великого переезда в дилижансе смерти! Когда-то он приедет за нами?

Вспомнишь, что мы можем ожидать его каждый день, каждый час, каждую минуту, и невольно призадуматься. Которое-то из наших деяний вынет тогда смерть из сберегательной кассы и даст нам в дорогу? Да, поразмыслим-ка об этом! День этого переезда не обозначен, ведь, в календаре!

^[1] Людовик XI – король Франции в 1461–1483 годах из династии Валуа.

^[2] Коннетабль Франции – высшая военная государственная должность в средневековом Французском королевстве.



 Загрузка...

Сказки Ханса Кристиана Андерсена. Два брата



На одном из датских островов, где среди хлебных полей лежат полукругами камни, обозначающие места древних «тингов»^[1], а в лесах зеленеют мощные буки, есть городок; застроен он низенькими домишками, крытыми красною черепицей. В одном из домиков на очаге пылали уголья и стряпалось что-то диковинное: в стеклянных сосудах что-то варилось, что-то такое мешали, перегоняли, в ступке толклись коренья... Заправлял всем делом пожилой человек.

– Надо добиваться настоящего! – говорил он. – Настоящего, истинного, самой истины во всём и всюду! Добиваться и крепко держаться её.

В горнице сидели возле доброй хозяйки двое сыновей; они были ещё малы, но развиты умственно не по летам. Мать тоже постоянно твердила им о настоящем, истинном добре, учила держаться истины, – в ней, ведь, отражается на земле лик самого Господа.

Взор старшего мальчугана блестел смышлёностью и смелостью; больше всего любил он читать о силах природы, о солнце, о звёздах. Никакая сказка не занимала до такой степени его воображения. Ах, какое счастье пуститься в далёкие странствования по белу свету, совершать открытия, изобрести крылья, подобные птичьим, на которых бы можно было летать! Вот это значит «дойти до настоящего»! Отец и мать правы: истиною

держится мир.

Младший брат был тише, замкнутее, весь зарывался в книги. Читая об Иакове, надевшем козью шкуру, чтобы выманить у отца благословение на первородство, он сжимал кулачки в гневе на обманщика. Читая о тиранах, о несправедливостях и злых деяниях, что творятся на свете, он готов был заплакать. Его всецело поглощала мысль, что торжествовать в мире должно одно «настоящее», сама истина.

Раз вечером мальчик улёгся в постель, но половинки полога были задёрнуты неплотно, к нему проникал луч света, и он мог ещё читать. Он и улёгся в постель с книгой: ему непременно надо было дочитать историю о Солоне. И мысли унесли мальчугана далеко, далеко; кровать стала кораблём, который поплыл на всех парусах. Во сне это всё было, или..? Корабль скользил по волнам, по могучим волнам времени, и мальчик явственно услышал голос Солона; понятно, хотя и на чужом языке, прозвучал девиз Дании: «Законом строится государство!»

Гений человечества витал в эту минуту в бедной комнатке над постелью ребёнка и целовал его в лоб: «Будь твёрд и честен, крепок в борьбе с жизнью! Будь хранителем истины на земле и стремись в царство вечной истины!»

Старший брат ещё не ложился, а стоял у окна и смотрел на туман, подымавшийся с лугов. Это не эльфы водили хороводы, хоть так и говорила ему старая честная служанка. Нет, мальчик знал, что это пары: они теплее и легче воздуха, оттого и поднимаются вверх. Вдруг с неба скатилась светлая звёздочка, и мысли мальчика мгновенно перенеслись от земных испарений к блестящему метеору. Звёзды небесные сияли; от них как будто тянулась к земле длинная золотая нить. «Летим со мною!» зазвучало в сердце мальчика, и могучий гений человечества унёс его в бесконечное пространство, где вращаются связанные между собою световыми лучами планеты. Они унеслись туда быстрее птицы, быстрее стрелы, быстрее всякого земного существа. Наша земля двигалась, окружённая слоем тонкой атмосферы; города как будто жались один к другому. И вот, прозвучало: «Что значит „близко“, что значит „далеко“, если тебя поднимает на своих крылах могучий гений духа!»

И ребёнок опять очутился у окна, где стоял и смотрел на туман; младший брат лежал в постели; мать окликнула обоих: «Андерс, Ганс-Христиан!»

Дания знает эти имена; знает и весь свет двух братьев Эрстедов.

^[1]Тинг – вече.

Загрузка...

Сказки Ханса Кристиана Андерсена. На дюнах



Рассказ пойдёт о ютландских дюнах, но начинается он не там, а далеко, далеко на юге, в Испании; море, ведь, соединяет все страны, перенесись же мыслью в Испанию! Как там тепло, как чудесно! Среди тёмных лавровых деревьев мелькают пурпуровые гранатные цветы; прохладный ветерок веет с гор на апельсиновые сады и великолепные мавританские галереи, с золочёными

куполами и расписными стенами. По улицам двигаются процессии детей, со свечами и развевающимися знамёнами в руках, а в вышине над улицами города раскинулось ясное, чистое небо, усеянное сияющими звёздами! Лютя звуки песен, щёлкают кастаньеты, юноши и девушки кружатся в пляске под сенью цветущих акаций; нищий сидит на ступенях мраморной лестницы, утоляет жажду сочным арбузом и затем опять погружается в привычную дремоту, сладкий сон! Да и всё здесь похоже на какой-то чудный сон! Всё манит к сладкой лени, к чудным грёзам! Таким грёзам наяву предавалась и юная, новобрачная чета, осыпанная всеми благами земными; всё было ей дано: и здоровье, и счастье, и богатство, и почётное положение в обществе.

– Счастливей нас никого и быть не может! – искренне говорили они; и всё же им предстояло подняться по лестнице человеческого благополучия ещё на одну ступень, если бы Бог даровал им ожидаемое дитя, сына, живое физическое и духовное изображение их самих.

Счастливое дитя! Его бы встретили общее ликование, самый нежный уход и любовь, всё благополучие, какое только может дать человеку богатство и знатная родня.

Вечным праздником была для них жизнь.

– Жизнь – милосердный дар любви, почти слишком великий, необъятный! – сказала супруга. – И представить себе, что эта полнота блаженства должна ещё возрасти там, за пределами земной жизни, возрасти до бесконечности!... Право, я даже не в силах справиться с этой мыслью, до того она необъятна!

– Да она и чересчур самонадеянна! – ответил муж. – Ну, не самонадеянно ли, в сущности, воображать, что нас ожидает вечная жизнь... как богов? Стать подобными богам – ведь, эту мысль внушил людям змий, отец лжи!

– Но не сомневаешься же ты в будущей жизни? – спросила молодая супруга, и словно тёмное облачко скользнуло впервые по безоблачному горизонту их мыслей.

– Религия обещает нам её, священники подтверждают это обещание! – сказал молодой муж. – Но именно теперь, чувствуя себя наверху блаженства, я и сознаю, насколько надменно,

самонадеянно с нашей стороны требовать после этой жизни ещё другой, требовать продолжения нашего блаженства! Разве не дано нам уже здесь, в этой жизни, так много, что мы не только можем, но и должны вполне удовлетвориться ею!

– Да, нам-то дано много, – возразила жена: – но для скольких тысяч людей земная жизнь – сплошное испытание; сколько людей от самого рождения бывают обречены на бедность, унижение, болезни и несчастье! Нет, если бы за эту жизнь не ждала людей другая, земные блага были бы распределены слишком неровно, и Бог не был бы Судьёю Всеправедным!

– И у нищего бродяги есть свои радости, по-своему не уступающие радостям короля, владельца пышного дворца! – ответил молодой человек. – И разве не чувствует, по-твоему, тяжести своей земной участи рабочий скот, которого бьют, морят голодом и работою? Значит, и животное может требовать себе загробной жизни, считать несправедливостью своё низкое положение в ряду других созданий?

– «В доме Отца Моего Небесного есть много обителей» сказал Христос! – возразила молодая женщина. – Царство небесное беспредельно, как и любовь Божия! Животные тоже Его творения, и, по-моему, ни одно живое существо не погибнет, но достигнет той ступени блаженства, на какую только способно подняться!

– Ну, а с меня довольно и этой жизни! – сказал муж и обнял свою красавицу жену. Дым его сигаретки уносился с открытого балкона в прохладный воздух, напоенный ароматом апельсиновых цветов и гвоздики; с улицы доносились звуки песен и щёлканье кастаньет; над головами их сияли звёзды, а в глаза мужу глядели нежные очи, сияющие огнём бесконечной любви, очи его супруги.

– Да одна такая минута стоит того, чтобы человек родился, пережил её и – исчез! – продолжал он, улыбаясь; молодая женщина ласково погрозила ему пальчиком, и тёмное облачко пронеслось, – они были чересчур счастливы!

Обстоятельства слагались для них так благоприятно, что жизнь сулила им впереди ещё большие блага. Правда, их ждала перемена, но лишь места, а не счастливого образа жизни. Король назначил молодого человека посланником при Императорском

Российском Дворе, – происхождение и образование делали его вполне достойным такого почётного назначения.

Молодой человек и сам имел состояние, да и молодая супруга принесла ему неменьшее; она была дочерью богатого, уважаемого коммерсанта. Один из самых больших и лучших кораблей последнего как раз должен был в этом году идти в Стокгольм; на нём-то и решили отправить дорогих детей, дочь и зятя, в Петербург. Корабль был разубран с королевскою роскошью, всюду мягкие ковры, шёлк и бархат...

В одной старинной, всем нам, датчанам, известной песне «об английском королевиче» говорится, как королевич этот отплывает на богато разубранном корабле, с якорями из чистого золота и шёлковыми снастями. Вот об этом-то корабле и вспоминалось, глядя на испанский корабль; та же роскошь, те же мысли при отплытии:

«О, дай же нам, Боже, счастливо вернуться!»

Подул сильный попутный ветер, минута прощания была коротка. Через несколько недель корабль должен был достигнуть конечной цели путешествия. Но когда он был уже далеко от земли, ветер улёгся, сияющая ровная поверхность моря, казалось, застыла; вода блестела, звёзды сияли, а в богатой каюте словно праздник шёл.

Под конец, однако, все стали желать доброго попутного ветра, но он и не думал являться, если же временами и дул ветер, то не попутный, а встречный. Недели шли за неделями, прошло целых два месяца, пока дождались благоприятного ветра с юго-запада. Корабль находился в это время между Шотландией и Ирландией; ветер надул паруса и понёс корабль – совсем, как в старинной песне об «английском королевиче»:

И ветер подул, небеса потемнели;
Куда им укрыться? Где берег, где порт?
Свой якорь на дно золотой опустили,
Но к Дании злобный их ветер несёт.

С тех пор прошло много лет. В те времена на троне Дании сидел

юный король Христиан VII; много событий совершилось за это время, многое изменилось, переменилось. Озёра и болота стали сочными лугами, степи – обработанными полями, а на западном берегу Ютландии, под защитой стен крестьянских избышек, выросли яблоки и розы. Но их приходится отыскивать глазами, так ловко они прячутся от резкого западного ветра. И всё же тут, на этом берегу, легко перенестись мыслью даже во времена ещё более отдалённые, нежели царствование Христиана VII: в Ютландии и теперь, как в старину, стелется необозримая бурая степь, родина миражей, усеянная могильными курганами, изрезанная перекрещивающимися, кочковатыми, песчаными дорогами. На западе же, где большие реки впадают в заливы, по-прежнему расстилаются луга и болота, защищённые со стороны моря высокими дюнами. Зубчатые вершины дюн тянутся по берегу, словно горная цепь, прерываемая в иных местах глинистыми откосами; море годы за годами откусывает от них кусок за куском, так что выступы и холмы, наконец, рушатся, точно от землетрясения. Такова была Ютландия и в те времена, когда счастливая чета плыла на богатом корабле.

Сентябрь был на исходе; погода стояла солнечная; было воскресенье; звуки колоколов догоняли друг друга, разносясь вдоль берега Ниссумфиорда. Самые церкви напоминали обтёсанные каменные глыбы, – каждая была высечена в обломке скалы. Море перекачивало через них свои волны, а они себе стояли, да стояли. Большинство из них было без колоколен; колокола, укреплённые между двумя столбами, висели под открытым небом. Служба в церкви кончилась, и народ высыпал на кладбище, на котором и тогда, как теперь, не виднелось ни деревца, ни кустика, ни цветка, ни даже венка на могилах. Только небольшие холмы указывали места, где покоились усопшие; всё кладбище поросло острою, жёсткою травой; ветер так и трепал её. Кое-где на могилах попадались и памятники, то есть, полусгнившие обломки брёвен, обтёсанные в виде гроба. Обломки эти доставлял прибрежный лес – дикое море. В море растут для берегового жителя и готовые балки, и доски, и деревья; доставляет же их на берег прибой. Но ветер и морской туман скоро заставляют их сгнить.

Такой обломок лежал и на детской могилке, к которой направилась одна из женщин, вышедших из церкви.

Она стояла молча, устремив взор на полуистлевший деревянный обломок. Немного погодя к ней присоединился её муж. Они не обменялись ни словом, он взял её за руку, и они пошли по бурой степи и болоту к дюнам. Долго шли они молча, наконец, муж промолвил:

– Хорошая была сегодня проповедь! Не будь у нас Господа, у нас не было бы ничего!

– Да, – ответила жена: – Он посылает нам радости, Он же посылает и горе! И Он прав всегда... А сегодня нашему мальчугану исполнилось бы пять лет, будь он жив.

– Право, напрасно ты так горюешь! – сказал муж. – Он счастливо отделался и находится теперь там, куда и нам надо проситься у Бога.

Больше они не говорили и направились к дому. Вдруг над одной из дюн, на которой песок не был укреплен никакой растительностью, поднялся как бы столб дыма: сильный вихрь взрыл и закрутил мелкий песок. Затем пронёсся новый порыв ветра, и развешанная на верёвках для просушки рыба забарабанила в стены дома; потом опять всё стихло; солнце так и пекло.

Муж с женой вошли в свою избушку и, живо снимав с себя праздничные платья, поспешили опять на дюны, возвышавшиеся на берегу, словно чудовищные, внезапно остановившиеся на пути, песочные волны. Некоторое разнообразие красок вносили росшие на белом песке голубовато-зелёные острые стебельки песочного овса и песчанки. На берег собралось и ещё несколько соседей, и мужчины соединёнными силами втащили лодки повыше на песок. Ветер всё крепчал, становился всё резче и холоднее, и, когда муж с женою повернули обратно домой, песок и острые камешки так и полетели им прямо в лицо. Сильные порывы ветра срезывали белые гребешки волн и рассыпали их мелкою пылью.

Свечерело; в воздухе как будто выл, свистел и стонал целый легион проклятых духов; муж с женою не слышали даже грохота моря, а избушка их стояла чуть не на самом берегу. Песок так и летел в оконные стёкла, порывы ветра грозили иногда повалить

самую избушку. Стемнело, но около полуночи должна была проглянуть луна.

Небо прояснилось, но буря бушевала на море с прежнею силой. Муж и жена давным давно улеглись в постели, но нечего было и думать заснуть в такую непогоду; вдруг в окно к ним постучали, дверь приотворилась и кто-то сказал:

– На крайнем рифе стоит большой корабль!

В одну минуту муж и жена вскочили и оделись.

– Луна светила довольно ярко, но бушующий песочный вихрь слепил глаза. Ветер дул такой, что хоть ложись на него; только с большим трудом, чуть не ползком, пользуясь паузами между порывами урагана, можно было перебраться через дюны. На берег, словно лебяжий пух, летела с моря солёная пена; море с шумом и рёвом катило кипящие волны. Надо было иметь опытный глаз, чтобы сразу различить в море судно. Это был великолепный двухмачтовый корабль; его несло к берегу через рифы, но на последнем он сел.

Подать помощь кораблю или экипажу нечего было и думать, – море слишком разбушевалось; волны нещадно хлестали корпус судна и перекатывались через него... Рыбакам чудились крики и вопли отчаяния; видно было, как люди на корабле беспомощно, растерянно суетились... Вот встал огромный вал и обрушился на бушприт. Миг – и бушприта как не бывало; корма высоко поднялась над водой, и с неё спрыгнули в этот момент две обнявшиеся человеческие фигуры, спрыгнули и исчезли в волнах... Миг ещё, и – огромная волна выкинула на дюны тело... молодой женщины, по-видимому, бездыханное. Несколько рыбаков окружили её, и им показалось, что она ещё подаёт признаки жизни. Сейчас перенесли её в ближайшую избушку. Как хороша и нежна была бедняжка! Верно, знатная дама!

Её уложили на убогую кровать, без всякого белья, прикрытую одним шерстяным одеялом, но в него-то и следовало укутать незнакомку, – чего уж теплее!

Её удалось вернуть к жизни, но она оказалась в жару и не сознавала ничего: ни того, что случилось, ни того, куда попала. Да и слава Богу: всё, что было ей дорого в жизни, лежало теперь на дне морском. Всё случилось, как в песне «об

английском королевиче»:

Ужаснее вида и быть не могло:

Разбилось судно о риф, как стекло.

Море выбросило на берег обломки корабля, из людей же уцелела одна молодая женщина. Ветер всё ещё выл, но в избушке на несколько мгновений воцарилась тишина: молодая женщина забылась; потом начались боли и крики, она раскрыла свои дивные глаза и сказала что-то, но никто не понял ни единого слова.

И вот, в награду за все перенесённые ею страдания, в объятиях её очутилось новорожденное дитя. Его ожидала великолепная колыбель с шёлковым пологом, роскошное жилище, ликование, восторги и жизнь, богатая всеми благами земными, но Господь судил иначе: ему довелось родиться в бедной избушке, и даже поцелуя матери не суждено было ему принять.

Жена рыбака приложила ребёнка к груди матери, и оно очутилось возле сердца, которое уже перестало биться, – мать умерла. Дитя, которое должно было встретить в жизни одно богатство, одно счастье, было выброшено морем на дюны, чтобы испытать нужду и долю бедняка.

Испанский корабль разбился немного южнее Ниссумфиорда. Жестокие, бесчеловечные времена, когда береговые жители промышляли грабежом потерпевших кораблекрушение, давным давно миновали. Теперь несчастные встречали тут любовное, сердечное отношение, широкую готовность прийти на помощь. Наше время может гордиться истинно благородными чертами характера! Умиравшая мать и несчастный ребёнок нашли бы приют и уход в любом домике на берегу, но нигде не отнеслись бы к ним участливее, сердечнее, чем в том именно, куда они попали, у бедной рыбачки, так грустно стоявшей вчера возле могилы своего ребёнка, которому в этот день должно было бы исполниться пять лет.

Никто не знал, кто такая была умершая женщина или откуда. Корабельные обломки были немы.

В Испании, в доме богатого купца, так никогда и не дождались

ни письма, ни весточки о дочери или зяте. Узнали только, что они не достигли места назначения и что в последние недели на море бушевали страшные бури. Ждали месяцы, наконец пришла весть: «Полное крушение; все погибли».

А в рыбацкой избе на дюнах появился новый жилец.

Там, где Господь посылает пищу для двоих, хватит и на третьего; на берегу моря хватит рыбы на голодный желудок. Мальчика назвали Юргеном.

– Это, верно, еврейское дитя! – говорили про него. – Ишь, какой черномазый!

– А, может быть, он испанец или итальянец! – сказал священник. Но все эти три народности были в глазах жены рыбака одним и тем же, и она утешалась, что дитя крещено. Ребёнок подрастал; благородная кровь питалась бедною пищей; отпрыск благородного рода вырастал в бедной избе. Датский язык, западно-ютландское наречие, стало для него родным языком. Гранатное зёрнышко с испанской почвы выросло на западном берегу Ютландии песчанкой. Вот как может приспособляться человек! Он сросся с новою родиной всеми своими жизненными корнями. Ему суждено было изведать и голод, и холод, и другие невзгоды, но также и радости, выпадающие на долю бедняка.

Детство каждого человека имеет свои радости, которые бросают светлый отблеск на всю его жизнь. В играх и забавах у Юргена недостатка не было. На морском берегу было чистое раздолье для игр: весь берег был усеян игрушками, выложен, словно мозаикою, разноцветными камешками. Тут попадались и красные, как кораллы, и жёлтые, как янтари, и белые, кругленькие, как птичьи яички, словом, всевозможные, мелкие обточенные и отшлифованные морем камешки. Высохшие остовы рыб, сухие водоросли и другие морские растения, белевшие на берегу и опутывавшие камни точно тесёмками, тоже служили игрушками, забавой для глаз, пищей для ума. Юрген был мальчуган способный, богато одарённый. Как он запоминал разные истории и песни! А уж что за руки у него были – просто золотые! Из камней и ракушек мастерил он кораблики и картинку для украшения стен. Мальчик мог, по словам его приёмной матери, выразить свои мысли резьбой на кусочке дерева, а он был ещё

невелик. Как чудесно звенел его голосок; мелодии так сами собой и лились из его горлышка. Да, много струн было натянуто в его душе; они могли бы зазвучать на весь мир, сложись его судьба иначе, не забрось она его в эту глухую рыбацью деревушку.

Однажды поблизости разбился корабль и на берег выбросило волнами ящик с редкими цветочными луковицами. Некоторые из них были искрошены в похлебку, – рыбаки сочли их за съедобные – другие остались гнить на песке. Им не суждено было выполнить своё назначение – развернуть взорам всю скрытую в них роскошь красок. Будет ли Юрген счастливее? Луковицы скоро погибли, его же ожидали долгие годы испытания.

Ни ему, ни кому другому из окружающих никогда и в голову не приходило, что дни тянутся здесь скучно и однообразно: здесь было вдоволь работы и рукам, и глазам, и ушам. Море являлось огромным учебником и каждый день развёртывало новую страницу, знакомило береговых жителей то со штилем, то с лёгким волнением, то с ветром и штормом. Кораблекрушения были крупными событиями, а посещения церкви являлись настоящими праздниками. Из посещений же родных и знакомых особенную радость доставлял семейству рыбака приезд дяди, продавца угрей из Фьяльтринга, что близ Бовбьерга. Он приезжал сюда два раза в год на крашеной тележке, полной угрей; тележка представляла ящик с крышкой и была расписана по красному фону голубыми и белыми тюльпанами; тащила её пара чалых волов. Юргену позволялось покататься на них.

Торговец угрями был остряк, весельчак и всегда привозил с собою бочонок водки. Всякому доставался полный стаканчик или кофейная чашечка, если не хватало стаканов; даже Юргену, как ни мал он был, давалась порция с добрый напёрсток. Надо же выпить, чтобы удержать в желудке жирного угря – говорил торговец и при этом всякий раз рассказывал одну и ту же историю, а если слушатели смеялись, рассказывал её ещё раз сначала. Такая уж слабость у словоохотливых людей! И так как Юрген сам зачастую руководился этой историей и в отрочестве, и даже в зрелом возрасте, то надо и вам познакомиться с нею.

«В реке плавали угри; дочери всё просились у матери погулять на

свободе, подняться вверх по реке, а мать говорила им: «Не заходите далеко! Не то придёт гадкий рыбак и всех вас заколет!» Но они всё-таки зашли слишком далеко, и из восьми дочерей вернулись к матери только три. Они принялись жаловаться: «Мы только чуть-чуть вышли из дома, как явился гадкий рыбак и заколол сестриц своим трезубцем до смерти!» – «Ну, они еще вернутся к нам!» – сказала мать. – «Нет!» – ответили дочери: – «он, ведь, содрал с них кожу, разрезал их на куски и зажарил!» – «Вернутся!» – повторила мать. – «Да, ведь, он съел их!» – «Вернутся!» – «Он запил их водкой!» – сказали дочери. – «Ай! Ай! Так они никогда не вернутся!» – завывала мать: – «Водка хоронит угрей!»

– Вот и следует всегда запивать это блюдо водочкою! – прибавлял торговец.

История эта прошла через всю жизнь Юргена красною нитью, давая обширный материал для забавных острот, поговорок и сравнений. И Юргену по временам страсть как хотелось «выглянуть из дома», погулять по белу-свету, а мать его, как и угриная matka, говорила: «На свете много злых людей – рыбаков!» Ну, а недалеко от дюн, в степи, побывать было можно, и он побывал. Четыре весёлых дня осветили собой всё его детство; в них отразилась для него вся красота Ютландии, вся радость и счастье родного края. Родителей Юргена пригласили на пир – правда, на похоронный.

Умер один из их состоятельных родственников. Жил он в степи, к северо-востоку от рыбачьей слободки. Родители взяли Юргена с собою. Миновав дюны, степь и болото, дорога пошла по зелёному лугу, где прорезывает себе путь река Скэрум, изобилующая угрями. В ней-то и жила угриная matka со своими дочками, которых злые люди убили, ободрали и разрезали на куски. Но часто люди поступали не лучше и с себе подобными. Вот и рыцарь Бугге, о котором говорится в старинной песне, был убит злыми людьми, да и сам он, как ни был добр, собирался убить строителя, что воздвигнул ему толстостенный замок с башнями. Замок этот стоял на том самом месте, где приостановился теперь Юрген со своими родителями, при впадении реки Скэрум в Ниссумфиорд. Валы ещё виднелись и на них остатки кирпичных

стен. Рыцарь Бугге, посылая своего слугу в погоню за ушедшим строителем, сказал: «Догони его и скажи: «Мастер, башня падает!» Если он обернётся, сруби ему голову и возьми деньги, что он получил от меня, а если не обернётся, оставь его идти с миром».

Слуга догнал строителя и сказал, что было велено, но тот, не оборачиваясь, ответил: «Башня ещё не падает, но некогда придёт с запада человек в синем плаще и заставит её упасть». Так оно и случилось сто лет спустя: море затопило страну, и башня упала, но владелец замка Предбьёрн Гюльденстьерне выстроил себе новую, ещё выше прежней; она стоит и посейчас в Северном Восборге.

Мимо последнего им тоже пришлось проходить. Все эти места давно были знакомы Юргену по рассказам, услаждавшим для него долгие зимние вечера, и вот, теперь он сам увидел и двор, окружённый двойными рвами, деревьями и кустами, и вал, поросший папоротником. Но лучше всего были здесь высокие липы, достававшие вершинами до крыши и наполнявшие воздух сладким ароматом. В северо-западном углу сада рос большой куст, осыпанный цветами, что снегом. Это была бузина, первая цветущая бузина, которую видел Юрген. И она, да цветущие липы запечатлелись в его памяти на всю жизнь; ребёнок «запасся на старость» воспоминаниями о красоте и аромате родины.

Остальную часть пути совершили гораздо скорее и удобнее: как раз у Северного Восборга, где цвела бузина, Юргена с родителями нагнали другие приглашённые на пир, ехавшие в тележке, и предложили подвезти их. Конечно, всем троим пришлось поместиться позади, на деревянном сундуке, окованном железом, но для них это было всё-таки лучше, чем идти пешком. Дорога шла по кочковатой степи; волы, тащившие тележку, время от времени останавливались, встретив среди вереска клочок земли, поросший свежей травкой; солнышко припекало, и над степью курился диковинный дымок. Он вился клубами и, в то же время, был прозрачнее самого воздуха; казалось, солнечные лучи клубились и плясали над степью.

– Это «Локеман» гонит своё овечье стадо! – сказали Юргену, и ему было довольно, – он сразу перенёсся в сказочную страну, но

не терял из виду и окружающей действительности. Какая тишина стояла в степи!

Во все стороны разбегалась необозримая степь, похожая на драгоценный ковёр; вереск цвёл; кипарисово-зелёный можжевельник и свежие отпрыски дубков выглядывали из него букетами. Так и хотелось броситься на этот ковёр поваляться – не будь только тут множества ядовитых гадюк!.. Об них-то, да о волках и пошла речь; последних водилось тут прежде столько, что всю местность звали «Волчьей». Старик-возница рассказывал, что в старину, когда ещё жив был его покойный отец, лошадям часто приходилось жестоко отбиваться от кровожадных зверей, а раз утром и ему самому случилось набрести на лошадь, попиравшую ногами убитого ею волка, но ноги её были все изгрызены.

Слишком скоро для мальчика проехали они кочковатую степь и глубокие пески, и прибыли в дом, где было полным-полно гостей. Повозки жались друг к другу; лошади и волы пощипывали тощую травку. За двором возвышались песчаные дюны, такие же высокие и огромные, как и в родной слободке Юргена. Как же они попали сюда с берега, ведь оттуда три мили? Ветер поднял и перенёс их; у них своя история.

Пропели псалмы, двое-трое старичков и старушек прослезились, а то было очень весело, по мнению Юргена: ешь и пей вволю, – угощали жирными угрями, а их надо было запивать водочкой. «Она удерживает угрей!» – говаривал старик-торговец, и тут крепко держались его слов.

Юрген шнырял повсюду и на третий день чувствовал себя тут совсем как дома. Но здесь, в степи, было совсем не то, что у них в рыбацкой слободке, на дюнах: степь так и кишела цветочками и голубицей; крупные, сладкие ягоды прямо топтались ногами, и вереск орошался красным соком.

Там и сям возвышались курганы; в тихом воздухе курился дымок; горит где-нибудь степь – говорили Юргену. Вечером же над степью подымалось зарево, – вот было красиво!

На четвёртый день поминки кончились, пора было и домой, на приморские дюны.

– Наши-то настоящие, – сказал отец: – а в этих никакой силы

нет.

Зашёл разговор о том, как они попали сюда, внутрь страны. Очень просто. На берегу нашли мёртвое тело; крестьяне схоронили его на кладбище, и вслед затем началась страшная буря, песок погнало внутрь страны, море дико лезло на берег. Тогда один умный человек посоветовал разрыть могилу и поглядеть, не сосёт ли покойник свой большой палец. Если да, то это водяной, и море требует его. Могилу разрыли: покойник сосал большой палец; сейчас же взвалили его на телегу, запрягли в неё двух волов, и те, как ужаленные, помчали её через степь и болото прямо в море. Песочная метель прекратилась, но дюны, как их намело, так и остались стоять внутри страны. Юрген слушал и сохранял все эти рассказы в своей памяти вместе с воспоминаниями о счастливейших днях детства, о поминках.

Да, то ли дело вырваться из дома, увидеть новые места и новых людей! И Юргену предстояло таки вырваться опять. Ему ещё не минуло четырнадцати лет, а он уже нанялся на корабль и отправился по белу-свету. Узнал он и погоду, и море, и злых, жестоких людей! Недаром он был юнгой! Скучная пища, холодные ночи, плеть и кулаки – всего пришлось ему отведать. Было от чего иногда вскипеть его благородной испанской крови; горячие слова просились на язык; но умнее было прикусить его, а для Юргена это было то же, что для угря позволить себя ободрать и положить на сковороду.

– Ну, да я возьму своё! – говорил он сам себе. Довелось ему увидеть и испанский берег, родину его родителей, даже тот самый город, где они жили в счастье и довольстве, но он, ведь, ничего не знал ни о своей родине, ни о семье, а семья о нём – и того меньше.

Парнишке не позволяли даже бывать на берегу, и он ступил на него в первый раз только в последний день стоянки; надо было закупить кое-какие припасы, и его взяли с собою на подмогу.

И вот Юрген, одетый в жалкое платьишко, словно выстиранное в канаве и высушенное в трубе, очутился в городе. Он, уроженец дюн, впервые увидел большой город. Какие высоченные дома, узенькие улицы, сколько народа! Толпы сновали туда и сюда; по

улицам как будто неслась живая река: горожане, крестьяне, монахи, солдаты... Крик, шум, гам, звон бубенчиков на ослах и мулах, звон церковных колоколов, пение и щёлканье, стукотня и грохотня: ремесленники работали на порогах домов, а то так и прямо на тротуарах. Солнце так и пекло, воздух был тяжёл и удушлив; Юргену казалось, что он в раскалённой печке, битком набитой жужжащими и гудящими навозными и майскими жуками, пчёлами и мухами; голова шла кругом. Вдруг он увидел перед собою величественный портал собора; в полутьме под сводами мерцали свечи, курился фимиам. Даже самый оборванный нищий имел право войти в церковь; матрос, с которым послали Юргена, и направился туда; Юрген за ним. Яркие образа сияли на золотом фоне. На алтаре, среди цветов и зажжённых свечей, красовалась Божья Мать с Младенцем Иисусом. Священники в роскошных облачениях пели, а хорошенькие, нарядные мальчики кадили. Вся эта красота и великолепие произвели на Юргена глубокое впечатление; вера и религия его родителей затронули самые сокровенные струны его души; на глазах у него выступили слёзы. Из церкви они направились на рынок, закупили нужные припасы, и Юргену пришлось тащить часть их. Идти было далеко, он устал и приостановился отдохнуть перед большим великолепным домом с мраморными колоннами, статуями и широкими лестницами. Юрген прислонил свою ношу к стене, но явился раззолоченный швейцар в ливрее и, подняв на него палку с серебряным набалдашником, прогнал прочь – его, внука хозяина! Но никто, ведь, не знал этого; сам Юрген – меньше всех.

Корабль отплыл; опять потянулась та же жизнь, толчки, ругань, недосыпанье, тяжёлая работа... Что ж, не мешает отведать всего! Это, ведь, говорят, хорошо пройти суровую школу в юности. Хорошо-то, хорошо – если потом ждёт тебя счастливая старость! Рейс кончился, корабль опять стал на якорь в Рингкьёбингсфиорде, и Юрген вернулся домой, в рыбацью слободку, но, пока он гулял по свету, приёмная мать его умерла.

Настала суровая зима. На море и суше бушевали снежные бури; просто беда была пробираться по степи. Как, в самом деле, разнятся между собою разные страны: здесь леденящий холод и

метель, а в Испании страшная жара! И всё же, увидав в ясный, морозный день большую стаю лебедей, летевших со стороны моря к Северному Восборгу, Юрген почувствовал, что тут всё-таки дышится легче, что тут, по крайней мере, можно насладиться прелестями лета. И он мысленно представил себе степь, всю в цветах, усеянную спелыми, сочными ягодами, и цветущие липы у Северного Восборга... Ах, надо опять побывать там!

Подошла весна, началась ловля рыбы, Юрген помогал отцу. Он сильно вырос за последний год, и дело у него спорилось. Жизнь так и была в нём ключом; он умел плавать и сидя, и стоя, даже кувыряться в воде, и ему часто советовали остерегаться макрелей, – они плавают стадами и нападают на лучших пловцов, увлекают их под воду и пожирают. Вот и конец! Но Юргену судьба готовила иное.

У соседей был сын Мортен; Юрген подружился с ним, и они вместе нанялись на одно судно, которое отплывало в Норвегию, потом в Голландию. Серьёзно ссориться между собою им вообще было не из-за чего, но мало ли что случается! У горячих натур руки, ведь, так и чешутся; случилось это раз и с Юргеном, когда он повздорил с Мартеном из-за каких-то пустяков. Они сидели в углу за капитанскою рубкой и ели из одной глиняной миски; у Юргена был в руках нож, и он замахнулся им на товарища, причем весь побледнел и дико сверкнул глазами. А Мортен только промолвил:

– Так ты из тех, что готовы пустить в дело нож!

В ту же минуту рука Юргена опустилась; молча доел он обед и взялся за своё дело. По окончании же работ он подошёл к Мортену и сказал: «Ударь меня в лицо, – я стою! Во мне, право, вечно бурлит через край, точно в горшке с кипятком!»

– Ну, ладно, забудем это! – отвечал Мортен, и с тех пор дружба их стала чуть не вдвое крепче. Вернувшись домой, в Ютландию, на дюны, они рассказывали о жите-бытье на море, рассказали и об этом происшествии. Да, кровь в Юргене бурлила через край, но всё же он был славный, надёжный горшок.

– Только не «ютландский»^[1], – ютландцем его назвать нельзя! – сострил Мортен.

Оба были молоды и здоровы; оба – парни рослые, крепкого сложения, но Юрген отличался большею ловкостью.

На севере, в Норвегии, крестьяне пасут свои стада на горах, где и имеются особые пастушьи шалаши, а на западном берегу Ютландии, на дюнах понастроены хижины для рыбаков; они сколочены из корабельных обломков и крыты торфом и вереском; по стенам внутри идут нары для спанья. У каждого рыбака есть своя девушка-помощница; обязанности её – насаживать на крючки приманки, встречать хозяина, возвращающегося с лова, тёплым пивом, готовить ему кушанье, вытаскивать из лодок пойманную рыбу, потрошить её и проч.

Юрген, отец его и ещё несколько рыбаков с их работницами помещались в одной хижине. Мортен жил в ближайшей.

Между девушками была одна, по имени Эльза, которую Юрген знал с детства. Оба были очень дружны между собою; в их нравах было много общего, но наружностью они резко отличались: он был смуглый брюнет, а она беленькая; волосы у неё были жёлтые, как лён, а глаза светло-голубые, как освещённое солнцем море.

Раз они шли рядом; Юрген держал её руку в своей и крепко пожимал её. Вдруг Эльза сказала ему:

– Юрген, у меня есть что-то на сердце! Лучше бы мне работать у тебя, – ты мне всё равно, что брат, а Мортен, к которому я нанялась, мой жених. Не надо только болтать об этом другим!

Песок словно заколыхался под ногами Юргена, но он не проронил ни слова, только кивнул головой, – согласен мол. Большого от него и не требовалось. Но он-то в ту же минуту почувствовал, что всем сердцем ненавидит Мортена. Чем больше он думал о случившемся, – а раньше он никогда так много не думал об Эльзе – тем яснее становилось ему, что Мортен украл у него любовь единственной девушки, которая ему нравилась, то есть, Эльзы; вот оно как теперь выходило!

Стоит посмотреть, как рыбаки переносятся, в свежую погоду, по волнам через рифы. Один из рыбаков стоит на носу, а гребцы не спускают с него глаз, выжидая знака положить вёсла и отдаться надвигающейся волне, которая должна перенести лодку через риф. Сначала волна подымает лодку так высоко, что с берега виден киль её; минутой спустя она исчезает в волнах; не видно ни

самой лодки, ни людей, ни мачты; море как будто поглотило всё... Но ещё минута, и лодка вновь показывается на поверхности по другую сторону рифа, словно вынырнувшее из воды морское чудовище; вёсла быстро шевелятся – ни дать ни взять ноги животного. Перед вторым, перед третьим рифом повторяется то же самое; затем рыбаки спрыгивают в воду и подводят лодку к берегу; удары волны помогают им, подталкивая её сзади.

Не подать вовремя знака, ошибиться минутой, и – лодка разобьётся о риф.

«Тогда бы конец и мне, и Мортену!» Эта мысль мелькнула у Юргена, когда они были на море. Отец его вдруг серьёзно занемог, лихорадка так и трепала его; между тем лодка приближалась к последнему рифу; Юрген вскочил и крикнул: – Отец,пусти лучше меня! – и взгляд его скользнул с лица Мортена на волны. Вот приближается огромная волна... Юрген взглянул на бледное лицо отца и – не мог исполнить злого намерения. Лодка счастливо миновала риф и достигла берега, но злая мысль крепко засела в голове Юргена; кровь в нём так и кипела; со дна души всплывали разные соринки и волокна, запавшие туда за время дружбы его с Мортеном, но он не мог выпрясть из них цельную нить, за которую бы мог ухватиться, и он пока не приступал к делу. Да, Мортен испортил ему жизнь, он чувствовал это! Так как же ему было не возненавидеть его? Некоторые из рыбаков заметили эту ненависть, но сам Мортен не замечал ничего и оставался тем же добрым товарищем и словоохотливым – пожалуй даже чересчур словоохотливым – парнем.

А отцу Юргена пришлось слечь; болезнь оказалась смертельной, и он через неделю умер. Юрген получил в наследство дом на дюнах, правда маленький, но и то хорошо, у Мортена не было и этого.

– Ну, теперь не будешь больше наниматься в матросы! Останешься с нами навсегда! – сказал Юргену один из старых рыбаков.

Но у Юргена как раз было в мыслях другое, – ему именно и хотелось погулять по белу свету. У торговца угрями был дядя, который жил в «Старом Скагене»; он тоже занимался рыболовством, но был уже зажиточным купцом и владел собственным судном. Слыл он милым стариком; у такого стоило

послужить. Старый Скаген лежит на крайнем севере Ютландии, далеко от рыбацкой слободки и дюн, но это-то обстоятельство особенно и было по душе Юргену; он не хотел пировать на свадьбе Эльзы и Мортена, а её готовились сыграть недели через две.

Старый рыбак не одобрял намерения Юргена, – теперь у него был собственный дом, и Эльза, наверно, склонится скорее на его сторону.

Юрген ответил на это так отрывисто, что нелегко было добраться до смысла его речи, но старик взял да и привёл к нему Эльзу. Немного сказала она, но всё-таки сказала кое-что:

– У тебя дом... Да, тут задумаешься!..

И Юрген сильно задумался.

По морю ходят сердитые волны, но сердце человеческое волнуется иногда ещё сильнее; его обуревают страсти. Много мыслей пронеслось в голове Юргена; наконец, он спросил Эльзу:

– Если бы у Мортена был такой же дом, кого из нас двоих выбрала бы ты?

– Да, ведь, у Мортена нет и не будет дома!

– Ну, представь себе, что он у него будет?

– Ну, тогда я, верно, выбрала бы Мортена, – люб он мне! Но этим сыт не будешь!

Юрген раздумывал об этом всю ночь. Что такое толкало его, он и сам не мог дать себе отчета, но безотчётное влечение оказалось сильнее его любви к Эльзе, и он повиновался ему – пошёл утром к Мортену. То, что Юрген сказал Мортену при свидании, было строго обдуманно им в течение ночи. Он уступил товарищу свой дом на самых выгодных для того условиях, говоря, что сам предпочитает наняться на корабль и уехать. Эльза, узнав обо всём, расцеловала Юргена прямо в губы, – ей, ведь, был люб Мортен.

Юрген собирался отправиться в путь на другой же день рано утром. Но вечером, хотя и было уже поздно, ему вздумалось ещё раз навестить Мортена. Он пошёл и на пути, на дюнах, встретил старого рыбака, который не одобрял его намерения уехать. «У Мортена, верно, зашит в штанах утиный клюв, что девушки так льнут к нему!» – сказал старик. Но Юрген прервал разговор,

простился и пошёл к Мортену. Подойдя поближе, он услышал в доме громкие голоса; у Мортена кто-то был. Юрген остановился в нерешимости; с Эльзой ему вовсе не хотелось встречаться. Подумав хорошенько, он не захотел и выслушивать лишний раз изъявлений благодарности Мортена и повернул назад.

Утром, ещё до восхода солнца, он связал свой узелок, взял с собой корзинку со съестными припасами и сошёл с дюн на самый берег; там идти было легче, чем по глубокому песку, да и ближе: он хотел пройти сначала в Фьяльтринг к торговцу угрями, благо обещал навестить его.

Ярко синела блестящая поверхность моря; берег был усеян ракушками и раковинками; игрушки, забавлявшие его в детстве, так и хрустели под его ногами. Вдруг из носу у него брызнула кровь, – пустячное обстоятельство, но и оно, случается, приобретает важное значение. Две, три крупные капли упали на рукав его рубашки. Он затёр их, остановил кровь и почувствовал, что от кровотечения ему стало как-то легче и в голове, и на сердце. В песке вырос кустик морской капусты; он отломил веточку и воткнул её в свою шляпу. «Смело, весело вперёд! Белый свет посмотреть, выглянуть из дома – как говорили угри. Берегитесь людей! Они злые, убьют вас, разрежут и зажарят на сковороде!» повторил он про себя и рассмеялся: «Ну я-то сумею сберечь свою шкуру! Смелость города берёт!»

Солнце стояло уже высоко, когда он подошёл к узкому проливу, соединявшему западное море с Ниссумфиордом. Оглянувшись назад, он увидал вдали двух верховых, а на некотором расстоянии за ними ещё нескольких пеших людей; все они, видимо, спешили. Ну да ему-то что за дело?

Лодка была у другого берега; Юрген кликнул перевозчика; отчалили, но не успели выехать на середину пролива, как мчавшиеся во весь опор верховые доскакали до берега и принялись кричать, приказывая Юргену именем закона вернуться обратно. Юрген в толк не мог взять, что им от него надо, но рассудил, что лучше всего вернуться, сам взялся за одно весло и принялся грести обратно к берегу. Едва лодка причалила, люди, толпившиеся на берегу, вскочили в неё и скрутили Юргену руки верёвкой; он и опомниться не успел.

– погоди! Поплатишься головой за своё злодейство! – сказали они. – Хорошо, что мы поймали тебя!

Обвиняли его ни больше, ни меньше, как в убийстве: Мортена нашли с перерезанным горлом. Один из рыбаков встретил вчера Юргена поздно вечером на пути к жилищу Мортена, Юрген уже не раз угрожал последнему ножом – значит, он и убийца! Следовало крепко стеречь его; в Рингкьёпинге – самое верное место, да не скоро туда доберёшься. Дул как раз западный ветер; в какие-нибудь полчаса, а то и меньше, можно было переправиться через залив и выехать на реку Скэрум, а оттуда уж всего четверть мили до Северного Восборга, где тоже есть крепкий замок с валами и рвами. В лодке был вместе с другими брат старосты, и он полагал, что им разрешат посадить Юргена в яму, где сидела вплоть до самой своей казни «Долговязая Маргарита».

Оправданий Юргена не слушали: капли крови на рубашке уливали его. Сам-то он знал, что невинен, но другие этому не верили, и он решил покориться судьбе.

Лодка пристала как раз у того вала, где возвышался некогда замок рыцаря Бугге, и где останавливались отдохнуть Юрген и его родители, на пути на пир, на поминки. Ах, эти четыре счастливых, светлых дня детства!.. Теперь его вели по той же самой дороге, по тем же лугам, к Северному Восборгу, где по-прежнему стояла осыпанная цветами бузина и цветущие, душистые липы. Он словно только вчера проходил тут.

В левом надворном крыле замка, под одною из высоких лестниц, открывался спуск в низкий сводчатый подвал. Оттуда выведена была на казнь «Долговязая Маргарита». Она съела пять детских сердец и думала, что, если съест ещё два, приобретёт умение летать и делаться невидимкою. В стене была пробита крошечная отдушина, но освежающий аромат душистых лип не мог через неё пробраться. Сырость, плесень, голые доски вместо постели – вот что нашёл Юрген в подвале. Но чистая совесть, говорят, мягкая подушка, значит – Юргену спалось хорошо.

Толстая дверь была заложена тяжёлым железным болтом, но призраки суеверия проникают и через замочную скважину, проникают и в барские хоромы, и в рыбацьи хижины, а сюда, к Юргену, пробирались и по-прежнему. Он сидел и думал о «Долговязой

Маргарите», о её злодеянии... В воздухе как будто витали ещё её последние мысли, мысли, которым она предавалась в ночь перед казнью. Приходили Юргену на ум и рассказы о чудесах, какие совершались тут при жизни помещика Сванведеля: собаку, сторожившую мост, каждое утро находили повешенною на цепи на перилах моста. Все эти мрачные мысли осаждали и пугали Юргена, и лишь одно воспоминание озаряло подвал солнечным лучом – воспоминание о цветущей бузине и липах.

Впрочем, недолго сидел он тут; его перевели в Рингкьёпинг, в такое же суровое заточение.

В те времена было не то, что в наши; плохо приходилось бедному человеку. У всех ещё в памяти было, как крестьянские дворы и целые селения обращались в новые господские поместья, как любой кучер или лакей становился судьёю и присуждал бедняка крестьянина за самый ничтожный проступок к лишению надела или к плетям. Кое-что подобное и продолжало ещё твориться в Ютландии: вдали от королевской резиденции и просвещённых блюстителей порядка и права, с законом поступали довольно произвольно. Так это было ещё сполагоря, что Юргену пришлось потомиться в заключении!

Что за холод стоял в помещении, куда его засадили! Когда же будет конец всему этому? Он невинен, а его предали позору и бедствиям – вот его судьба! Да, тут он мог поразмыслить о ней на досуге. За что она так преследовала его?.. Всё выяснится там, в будущей жизни, которая ждёт нас всех! Юрген вырос с этою верою. То, чего не мог уяснить себе отец, окружённый роскошью, залитою солнцем природою Испании, то светило отрадным лучом сыну среди окружавшего его мрака и холода. Юрген твёрдо уповал на милость Божию, а это упование никогда не бывает обмануто.

Весенние бури опять давали себя знать. Грохот моря слышен был на много миль кругом, даже в глубине страны, но лишь после того, как буря улеглась. Море грохотало, словно катились по твёрдому, взрытому грунту сотни тяжёлых телег. Юрген чутко прислушивался к этому грохоту, который вносил в его жизнь хоть какое-нибудь разнообразие. Никакая старинная песня не доходила так до его сердца, как музыка катящихся волн, голос бурного

моря. Ах, море, дикое, вольное море! Ты, да ветер носите человека из страны в страну, и всюду он носится вместе с домом своим, как улитка, всюду носит с собою часть своей родины, клочок родной почвы!

Как прислушивался Юрген к глухому ропоту волн, и как в нём самом волновались мысли и воспоминания! «На волю! На волю!» На воле – рай, блаженство, даже если на тебе башмаки без подошв и заплатанное грубое платье! Кровь вскипала в нём от гнева, и он ударял кулаком о стену.

Так проходили недели, месяцы, прошёл и целый год. Вдруг поймали вора Нильса, по прозвищу «барышника», и для Юргена настали лучшие времена: выяснилось, как несправедливо с ним поступили.

К северу от Рингкьёпинского залива была корчма; там-то и встретились вечером, накануне ухода Юргена из слободки, Нильс и Мортен. Выпили по стаканчику, выпили по другому, и Мортен не то что бы опьянел, а так... разошёлся больно, дал волю языку, – рассказал, что купил дом и собирается жениться. Нильс спросил, где он взял денег, и Мортен хвастливо ударил по карману:

– Там, где им и следует быть!

Хвастовство стоило ему жизни. Он пошёл домой, Нильс прокрался за ним и всадил ему в шею нож, чтобы обобрать деньги, которых не было.

Все эти обстоятельства были изложены в деле подробно, но с нас довольно знать, что Юргена выпустили на волю. Ну, а чем же вознаградили его за всё, что он вытерпел: годовое заключение, холод и голод, отторжение от людей? Да вот, ему сказали; что он, слава Богу, невинен и может уходить. Бургомистр дал ему на дорогу десять марок, а несколько горожан угостили пивом и хорошею закуской. Да, водились там и добрые люди, не всё одни такие, что готовы «заколоть, ободрать, да на сковородку положить!» Лучше же всего было то, что в город приехал в это время по делам тот самый купец Брённе из Скагена, к которому Юргену хотелось поступить год тому назад.

Купец узнал всю историю и захотел вознаградить Юргена за всё, перенесённое им; сердце у старика было доброе, он понял, чего должен был натерпеться бедняга и собирался показать ему, что

есть на свете и добрые люди.

Из темницы – на волю, на свет Божий, где его ожидали любовь и сердечное участие! Да, пора ему было испытать и это. Чаша жизни никогда не бывает наполнена одною полынью, – такой не поднесёт ближнему ни один добрый человек, а уж тем меньше сам Господь – Любовь Всеобъемлющая.

– Ну, поставь-ка ты над всем этим крест! – сказал купец Юргену. – Вычеркнем этот год, как будто его и не было, сожжём календарь и через два дня – в путь, в наш мирный, богоспасаемый Скаген! Его зовут «медвежьим углом», но это уголок уютный, благословенный, с открытыми окнами на белый свет!

Вот была поездка! Юрген вздохнул полною грудью. Из холодной темницы, из душного, спёртого воздуха, вновь очутиться на ярком солнышке!

Вереск цвёл, вся степь была в цветах; на кургане сидел пастушонок и наигрывал на самодельной дудочке из бараньей кости. Фата-Моргана, чудные воздушные видения степи: висячие сады и плавающие в воздухе леса, диковинное колебание воздушных волн – явление, о котором крестьяне говорят: «Это Локеман гонит своё стадо» – всё это увидел он вновь.

Путь их лежал к Лимфиорду, к Скагену, откуда вышли «длиннобородые люди», Лонгобарды. В царствование короля Снио здесь был голод, и порешили избить всех стариков и детей, но благородная женщина Гамбарук, владетельница одного из северных поместий, предложила лучше выселить молодёжь из пределов страны. Юрген знал это предание – настолько-то он был учён – и если не знал вдобавок и самой страны Лонгобардов, лежащей за высокими Альпами, то знал, по крайней мере, на что она приблизительно похожа. Он, ведь, ещё мальчуганом побывал на юге, в Испании и помнил сваленные горами плоды, красные гранаты, шум, гам и колокольный звон в огромном городе, напоминавшем собою улей. Но самой лучшей страной остаётся всё-таки родина, а родиной Юргена была Дания.

Наконец, они достигли и «Вендиль-Скага», как называется Скаген в старинных норвежских и исландских рукописях. Уже и в те времена тянулась здесь по отмели, вплоть до маяка, необозримая

цепь дюн, прерываемая обработанными полями, и находились города: Старый Скаген, Вестербю и Эстербю. Дома и усадьбы и тогда были рассыпаны между наносными, подвижными песчаными холмами, и тогда взметал буйный ветер ничем неукреплённый песок, и тогда оглушительно кричали здесь чайки, морские ласточки и дикие лебеди. Старый Скаген, где жил купец Брённе и должен был поселиться Юрген, лежит на милю юго-западнее мыса Скагена. Во дворе купца пахло дёгтем; крышами на всех надворных строениях служили перевёрнутые кверху дном лодки; свиные хлева были сколочены из корабельных обломков; двор не был огорожен – не от кого и нечего было огораживать, хотя на длинных верёвках, развешанных одна над другою и сушилась распластанная рыба. Весь морской берег был покрыт гнилыми сельдями: не успевали закинуть в море невод, как он приходил битком набитый сельдями; их и девать было некуда – приходилось бросать обратно в море или оставлять гнить на берегу.

Жена и дочь купца, и все домочадцы радостно встретили отца и хозяина, пошло пожиманье рук, крик, говор. А что за славное личико и глазки были у дочки купца!

В самом доме было просторно и уютно. На столе появились рыбные блюда, – такие камбалы, какими бы полакомился сам король! А вина были из Скагенских виноградников – из великого моря: виноградный сок притекает в Скаген прямо в бочках и бутылках.

Когда же мать и дочь узнали, кто такой Юрген, слышали, как жестоко и безвинно пришлось ему пострадать, они стали глядеть на него ещё ласковее; особенно ласково смотрела дочка, милая Клара. Юрген нашёл в Старом Скагене уютный, славный семейный очаг; теперь сердце его могло успокоиться, а много таки этому бедному сердцу пришлось изведать, даже горечь несчастной любви, которая либо ожесточает его, либо делает ещё мягче, чувствительнее. Сердце Юргена не ожесточилось, оно было ещё молодо, и теперь в нём оставалось незанятое местечко. Кстати поэтому подоспела поездка Клары в гости к тётке, в Христианзанд, в Норвегию. Она собиралась отправиться туда на корабле недели через три и прогостить там всю зиму.

В последнее воскресенье перед отъездом Клары все отправились в церковь причащаться. Церковь была большая, богатая; построили

её несколько столетий тому назад шотландцы и голландцы; недалеко от неё выстроился и самый город. Церковь уже несколько обветшала, а дорога к ней вела очень тяжёлая, с холма на холм, то вверх, то вниз, по глубокому песку, но жители всё-таки охотно шли в Божий храм пропеть псалмы и послушать проповедь. Песочные заносы достигали уже вершины кладбищенской ограды, но могилы постоянно очищались.

Это была самая большая церковь к северу от Лимфиорда. На алтаре словно живая стояла Божья Матерь с Младенцем на руках; на хорах помещались резные деревянные изображения апостолов, а наверху, по стенам, висели портреты старых скагенских бургомистров и судей; под каждым портретом красовалась условная подпись данного лица. Кафедра тоже была вся резная. Солнце весело играло на медной люстре и на маленьком кораблике, подвешенном к потолку.

Юргена охватило то же чувство детского благоговения, которое он испытал ещё мальчиком в богатом соборе в Испании, но здесь к этому чувству присоединялось ещё сознание, что и он принадлежит к пастве.

После проповеди началось причащение. Юрген тоже вкусил хлеба и вина, и случилось так, что он преклонил колена как раз рядом с Кларою. Но мысли его были обращены к Богу, он всецело был занят совершавшимся таинством и заметил кто была его соседка только тогда, когда уже встал с колен. Взглянув на неё, он увидел, что по щекам её струились слёзы.

Два дня спустя, она уехала в Норвегию, а Юрген продолжал исправлять разные работы по дому, участвовал и в рыбной ловле, а в те времена там таки было что ловить, побольше, чем теперь. Стада макрелей оставляли за собою по ночам светящийся след, выдававший их движения под водою; керцы^[2] хрипели, а крабы издавали жалобный вой, когда попадались ловцам; рыбы вовсе не так немые, как о них рассказывают. Вот Юрген, тот был помолчаливее их, хранил свою тайну глубоко в сердце, но когда-нибудь и ей суждено было всплыть наружу.

Сидя по воскресеньям в церкви, он набожно устремлял взоры на изображение Божьей Матери, красовавшееся на алтаре, но иногда

переводил их ненадолго и на то место, где стояла рядом с ним на коленях Клара. Она не выходила у него из головы... Как она была добра к нему!

Вот и осень пришла; сырость, мгла, слякоть... Вода застаивалась на улицах города, песок не успевал её всасывать, и жителям приходилось пускаться по улицам вброд, если не вплавь. Бури разбивали о смертоносные рифы корабль за кораблём. Начались снежные и песочные метели; песок заносил дома, и обывателям приходилось зачастую вылезать из них через дымовые трубы, но им это было не в диковинку. Зато в доме купца было тепло и уютно; весело трещал в очаге торф и корабельные обломки, а сам купец громко читал из старинной хроники сказание о датском принце Амлете, вернувшемся из Англии и давшем битву у Бовбьерга. Могила его находится близ Раммэ, всего милях в двух от того места, где жил старый торговец угрями; в необозримой степи возвышались сотни курганов; степь являлась огромным кладбищем. Купец Брэнне сам бывал на могиле Амлета. Наскучит читать, принимались за беседу; толковали о старине, о соседях англичанах и шотландцах, и Юрген пел старинную песню «об английском королевиче», о том, как был разубран корабль:

«Борта золочёные ярко сияют,
Написано слово Господне на них;
А нос корабля галлион украшает:
Принц девицу держит в объятьях своих».

Эту песню Юрген пел с особенным чувством; глаза его так и блестели; они уж с самого рожденья были у него такие чёрные, блестящие.

Итак – пели, читали; в доме царила тишь да гладь, да Божья благодать; все чувствовали себя, как в родной семье, даже домашние животные. А уж что за порядок был в доме, что за чистота! На полках блестела ярко вычищенная оловянная посуда, к потолку были подвешены колбасы и окорока – обильные зимние запасы. В наши времена всё это можно увидеть на западном берегу Ютландии у многих крестьян: такое же обилие съестных припасов, такое же убранство в горницах, веселье и здравый

смысл; вообще дела у них поправились. И гостеприимство здесь царит такое же, как в шатрах арабов.

Никогда ещё не жилось Юргену так хорошо, так весело, если не считать тех весёлых четырёх дней детства, проведённых в гостях на поминках. А между тем здесь ещё не было Клары; то есть не было её дома, а в мыслях и разговорах она присутствовала постоянно.

В апреле купец решил послать в Норвегию своё судно; на нём отправлялся и Юрген. Вот-то повеселел он! Ну, да и в теле он за это время поправился, как говорила сама матушка Брённе; приятно было взглянуть на него.

– И на тебя тоже! – сказал ей муж. – Юрген оживил наши зимние вечера, да и тебя, старушка! Ты даже помолодела за этот год. Ишь, какая стала – любо посмотреть! Ну да, ведь, ты и была когда-то первою красавицей в Виборге, а это много значит: нигде я не видал таких красивых девушек, как там.

Юрген не проронил ни слова – да и не следовало – а только подумал об одной девушке из Скагена. К ней-то он и отправлялся теперь. Судно, подгоняемое свежим ветром, пробыло в пути всего полдня.

Рано утром купец Брённе отправился на маяк, что возвышается далеко в море, близ самой крайней точки мыса Скагена. Когда он поднялся на вышку, огонь был уже давно потушен, солнце стояло высоко. На целую милю от берега тянулись в море песчаные мели. На горизонте показалось в этот день много кораблей, и купец надеялся с помощью подзорной трубы отыскать между ними и свою «Карен Брённе». В самом деле, она приближалась; на ней были и Клара с Юргеном. Вот они уже увидели вдаль Скагенский маяк и церковную колокольню, казавшиеся издали цаплей и лебедем на голубой воде. Клара сидела у борта и смотрела, как на горизонте вырисовывались одна за другою родные дюны. Продолжай дуть попутный ветер, они бы меньше, чем через час, были дома. Так близка была радость встречи – так близок был и ужасный час смерти.

В одном из боков судна сделалась пробоина, и вода хлынула в трюм. Бросились выкачивать воду, затыкать отверстие, подняли все паруса, выкинули флаг, означавший, что судно в опасности.

До берега оставалось плыть всего какую-нибудь милю, вдали уже показались рыбацьи лодки, спешившие на помощь, ветер гнал судно к берегу, течение помогало, но судно погружалось в воду с ужасающей быстротой. Юрген обвил правою рукою стан Клары. Как она посмотрела ему в глаза перед тем, как он, призывая имя Божие, бросился с нею в волны! Она вскрикнула, но ей нечего было бояться, – он не выпустит её.

«Принц девицу держит в объятьях своих!»

Юрген тоже решился на это в час страшной опасности. Уменье плавать пригодилось ему теперь; он то работал обеими ногами и свободною рукой, – другою он крепко прижимал к себе девушку – то отдавался течению, лишь слегка шевеля ногами, словом, пользовался всеми приёмами, какие знал, чтобы сберечь силы и достигнуть берега. Вдруг, он почувствовал, что Клара глубоко вздохнула и судорожно затрепетала... Он прижал её к себе ещё крепче. Волны перекатывались через их головы; течение подымало их; вода была так чиста и прозрачна. Одну минуту ему казалось, что он видит в глубине стадо блестящих макрелей или, может быть, это было само морское чудовище, готовившееся поглотить их?.. Облака, проплывая по небу, бросали на воду лёгкую тень, потом на ней опять играли лучи солнца. Стаи птиц с криком носились над головой Юргена; сонливо покачивавшиеся на волнах дикие утки при его приближении испуганно взлетали кверху. А силы пловца всё падали... Он чувствовал это; до берега оставалось плыть ещё немало, но помощь была близка, лодка подходила. Вдруг он ясно увидел под водою белую, смотревшую на него в упор, фигуру... Волна подхватила его, фигура приблизилась... Он почувствовал удар... всё померкло в глазах!.. На рифе под водою засел обломок корабля с галлионом, изображавшим женщину, опиравшуюся на якорь. О его то острие, торчавшее кверху, и ударился Юрген, подгоняемый течением. Без чувств погрузился он в воду вместе со своею ношей, но следующая волна опять вскинула их кверху. Рыбаки втащили обоих в лодку; лицо Юргена было всё в крови; он лежал, как мёртвый, но девушку держал так крепко, что её едва

высвободили у него из рук. Безжизненную, бледную положили её на дно лодки, направлявшейся к Скагену.

Были пущены в ход все средства, но вернуть Клару к жизни не удалось. Давно уже плыл Юрген с трупом в объятиях, боролся и изнемогал, спасая мёртвую.

А сам Юрген ещё дышал, и его отнесли в ближайший дом за дюнами. Какой-то фельдшер, бывший в то же время и кузнецом и мелочным торговцем, перевязал его рану в ожидании лекаря, за которым послали в Гьёрринг.

У больного был затронут мозг; он лежал в бреду, испуская дикие крики, но на третий день впал в забытие. Жизнь, казалось, висела в нём на волоске и, по словам лекаря, лучше было бы если бы волосок этот порвался.

– Дай Бог, чтобы он умер! Ему не бывать больше человеком!

Но он не умер, волосок не порвался; зато порвалась нить воспоминаний, были подрезаны в корне все умственные способности – вот что ужасно! Осталось одно тело, которое готовилось выздороветь и жить по-своему.

Купец Брённе взял Юргена к себе.

– Он пострадал, спасая наше дитя! – сказал старик. – Теперь он наш сын.

Юргена стали звать полоумным. Но это было не совсем верно; он походил на инструмент с ослабевшими, переставшими звучать, струнами. Лишь на какое-нибудь мгновение, в редкие минуты, они обретали прежнюю упругость и звучали, да и то раздавалось всего несколько отдельных аккордов старых мелодий. Картины прошлого всплывали и опять исчезали, и Юрген снова сидел, бессмысленно вперив в пространство неподвижный взор. Надо думать, что он, по крайней мере, не страдал. Чёрные глаза утратили свой блеск, смотрели безжизненными, тусклыми.

«Бедный, слабоумный Юрген!» говорили про него.

Так вот до чего дожило дитя, которое мать носила под сердцем для жизни, столь богатой счастьем, что было бы «непростительной гордостью желать, не говоря уже – ожидать за пределами её другой!» Итак, все богатые способности души пошли прахом? Нужда, горе и бедствие были его уделом; он, как роскошная цветочная луковица, был выдернут из богатой почвы и

брошен на песок – гнить! Разве не достойно было лучшей участи творение, созданное «по образу и подобию» самого Бога? Разве всё на свете лишь игра пустых случайностей? Нет! Милосердный Господь несомненно готовил ему в другой жизни награду за всё, что он выстрадал в этой. «Милосердие Божие превыше всех дел Его!» Эти слова псалмопевца с верою повторяла благочестивая жена купца, и сердечною молитвой её была молитва о скорейшем переселении Юргена в царство Божьей милости, где царит вечная жизнь.

Клару похоронили на кладбище, которое всё больше и больше заносило песком. Но Юрген, казалось, и не сознавал этого; это не входило в узкую сферу его мыслей; они ловили только обрывки прошлого. Каждое воскресенье сопровождал он семейство купца в церковь и сидел смирно, уставившись перед собою бессмысленным взором. Но однажды, слушая пение псалмов, он вздохнул, глаза его заблестели и остановились на том месте близ алтаря, где он год тому назад стоял на коленях рядом со своею умершею возлюбленною. Он назвал её имя, побледнел, как полотно, и заплакал.

Ему помогли выйти из церкви, и он сказал, что ему совсем хорошо. Он уже не помнил, что с ним случилось, не помнил ничего. Да, Господь тяжко испытывал его! Но может ли кто сомневаться в мудрости и милосердии Творца Нашего? Наше сердце, наш разум говорят нам о Его мудрости и милосердии, а Библия подтверждает: «Милосердие Его превыше всех дел Его!»

А в Испании, где тёплый ветерок ласкает апельсиновые и лавровые деревья, веет на мавританские золочёные купола, где льются звуки песен, щёлкают кастаньеты, где по улицам движутся процессии детей со свечами и развевающимися знамёнами, сидел в роскошном доме бездетный старик, богатейший купец. Чего ни отдал бы он из своего богатства, чтобы только вернуть своих детей, дочь или её ребёнка, которому, может быть, и не суждено было увидеть света, а следовательно и жизни вечной? «Бедное дитя!»

Да, бедное дитя! Именно дитя, хотя ему и шёл уже тридцатый год; вот до какого возраста дожил Юрген в Скагене.

Песочные заносы уже покрывали кладбище до самой стены церкви,

но умирающие всё же хотели быть погребёнными рядом с ранее отошедшими в вечность, родными и милыми их сердцу. Купец Брённе и его жена тоже легли под белый песок возле своей дочери.

Пришла весна, время бурь; дюны курились, море высоко вздымало волны, птицы тучами летали над дюнами, испуская крики. О рифы разбивался корабль за кораблём.

Однажды вечером, Юрген сидел в комнате один, и в его груди вдруг вспыхнуло какое-то беспокойное влечение, стремление вдаль, которое так часто увлекало его ещё в детстве из дома на дюны и в степь.

– Домой, домой! – твердил он; никто не слышал его; он вышел из дома и направился на дюны; песок и мелкие камешки летели ему в лицо, крутились вокруг него столбами. Вот, он дошёл до церкви. Песок занёс всю стену и даже окна до половины, но проход к дверям был прочищен. Двери не были заперты и легко отворились; Юрген вошёл.

Ветер выл над городом; разразился страшный ураган, какого не запомнили жители, но Юрген был уже в доме Божием. Вокруг стояла тёмная ночь, а на душе у него было светло, в ней разгорался духовный огонь, который никогда не потухает совсем. Он почувствовал, что тяжёлая глыба, давившая его голову, вдруг с треском свалилась. Ему чудились звуки органа, но это была буря и стонало море. Юрген сел на своё место; церковь осветилась огнями; одна свеча вспыхивала за другою; такой блеск он видел только раз в жизни, в испанском соборе. Старые портреты бургомистров и судей ожили, сошли со стен, где висели годы, и заняли места на хорах. Церковные ворота и двери растворились, и вошли все умершие прихожане в праздничных платьях, какие носили в их время. Они шествовали под звуки чудной музыки и усаживались на свои места. Хор запел псалмы; мощными волнами полились звуки. Старики, приёмные родители Юргена, купец Брённе с женою, тоже были тут, а рядом с Юргеном сидела и милая, любящая дочь их Клара. Она протянула Юргену руку, и они пошли вместе к алтарю, преклонили колена, и священник соединил их руки, благословил их жить в мире и любви!.. Раздались звуки труб; полные звуки блаженно рыдали,

словно сотни детских голосов, разрастались в мощные, возвышающие душу, бурные аккорды органа, и снова переходили в нежные, чарующие, но вместе с тем способные потрясти могильные склепы!

Кораблик, что висел под потолком, спустился вниз, стал вдруг таким большим, великолепно разубранным, с шёлковыми парусами, золочёными реями, золотыми якорями и шёлковыми канатами, как тот корабль, о котором поётся в старинной песне. Новобрачные взошли на корабль, все остальные прихожане – за ними; всем нашлось место, всем было хорошо. Стены и своды церковные зацвели, как бузина и душистые липы, и ласково протянули к кораблю свои ветви и листья, сплелись над ним зелёною беседкою. Корабль поднялся и поплыл по воздуху. Все свечи в церкви превратились в звёздочки, ветер пел псалмы, пели и самые небеса: «Любовь! Блаженство! Ни одна жизнь не погибнет, но спасётся! Блаженство! Аллилуйя!..» Слова эти и были последними словами Юргена: порвалась нить, удерживавшая бессмертную душу... В тёмной церкви лежало только безжизненное тело, а вокруг неё по-прежнему бушевала буря, вихрем крутился песок.

Следующий день был воскресный; утром прихожане и священник отправились в храм. Трудно было туда пробираться; дорога сделалась почти непроходимой. Наконец, добрались, но... церковные двери оказались заваленными песком; перед ними возвышался целый холм. Священник прочёл краткую молитву и сказал, что Господь закрыл для них дверь этого Своего дома, и им надо воздвигнуть Ему в другом месте новый.

Пропели псалом и разошлись по домам.

Юргена не нашли ни в городе, ни на дюнах, где ни искали, и решили, что его смыло волнами.

А его тело почивало в грандиозной гробнице – в самом храме. Господь повелел буре забросать его гроб землёю, и он остаётся под тяжёлым песчаным покровом и поныне.

Пески покрыли величественные своды храма, и над ним растут теперь тёрн и дикие розы. Из песков выглядывает лишь одна колокольня – величественный памятник над могилой Юргена,

видный издали за несколько миль. Ни один король не достаивался более великолепного памятника! Никто не нарушит покоя умершего; никто и не знает, или по крайней мере не знал до сих пор, где он погребён. Мне же рассказал обо всём ветер, разгуливающий над дюнами.

^[1]Так называемая «ютландская посуда» изготавливается из тёмной глины и отличается огнеупорностью и прочностью.

^[2]Рыба (cottus scorpius, Myoxocephalus scorpius).

Загрузка...

Сказки Ханса Кристиана Андерсена. Как хороша!

Ты, ведь, знаешь скульптора Альфреда? Все мы знаем его; он получил золотую медаль, ездил в Италию и опять вернулся на родину; тогда он был молод, да он и теперь не стар, хотя, конечно, состарился на десять лет.

Вернувшись на родину, он поехал погостить в один из Зеландских городков. Весь город узнал о приезде, узнал, кто он такой. Одно из богатейших семейств города дало в честь его большой вечер. Все, кто хоть мало-мальски чем-нибудь выдавался — деньгами или положением в свете — были в числе приглашённых. Вечер являлся настоящим событием; весь город знал о том и без барабанного оповещения. Мальчишки-мастеровые и другие ребята мелких горожан, а с ними кое-кто и из родителей, стояли пред освещёнными окнами и глядели на спущенные занавески. Ночной сторож мог вообразить, что на его улице

праздник, такое тут собралось большое общество. Для зевак и стоянье на улице отзывалось удовольствием, а уж там в доме-то что было за веселье! Там, ведь, находился сам господин Альфред, скульптор!

Он говорил, рассказывал, а все остальные слушали его с удовольствием и чуть ли не с благоговением, особенно одна пожилая вдова-чиновница. Она напоминала собою в этом случае пропускную бумагу – жадно впивала в себя каждое слово и просила ещё и ещё. Невероятно восприимчивая была барыня, но и невежественная до невероятия; настоящий Каспар Гаузер^[1] в юбке. – Вот Рим бы я посмотрела! – сказала она. – То-то, должно быть, чудесный город! Сколько туда наезжает иностранцев! Опишите нам Рим! Что видишь, въезжая в ворота?

– Ну, это не так-то легко описать! – ответил молодой скульптор. – Видите ли, там большая площадь, а посреди её возвышается обелиск; ему четыре тысячи лет.

– Вот так василиск! – проговорила барыня; она от роду не слыхивала слова обелиск. Многим, в том числе и самому скульптору, стало смешно, но усмешка его мгновенно испарилась, как только он увидел рядом с барыней пару больших синих, как море, очей. Очи принадлежали дочке барыни, а матушка такой дочки не может, конечно, быть глупою!..

Матушка была неисчерпаемым источником вопросов, дочка – прекрасною, молчаливою наядою источника. Как она была хороша! Скульптору легко было заглядеться на неё, но не заговорить с ней, – она совсем не говорила или, по крайней мере, очень мало!

– А у папы большая семья? – спросила барыня.

И молодой человек ответил, как следовало бы ответить при более умной постановке вопроса:

– Нет, он не из большой семьи.

– Я не про то! – возразила барыня. – Я спрашиваю, есть ли у него жена и дети?

– Папа не имеет права жениться! – ответил скульптор.

– Ну, это не в моём вкусе! – сказала она.

Конечно, и вопросы, и ответы могли бы быть поумнее, но если бы

они не были так глупы, стала ли бы дочка выглядывать из-за плеча матери с такую трогательную улыбку?

И господин Альфред продолжал рассказывать – рассказывал о ярких красках природы Италии, о синюющих горах, о голубом Средиземном море, о южном небе... Подобную синеву можно встретить здесь, на севере, разве только в очах северных дев! Сказано это было с ударением, но та, к кому относился намёк, не подала и вида, что поняла его. И это тоже вышло чудо, как хорошо!

– Италия! – вздыхали одни. – Путешествовать! – вздыхали другие. – Как хорошо, как хорошо!

– Вот, когда я выиграю пятьдесят тысяч, – сказала вдова: – мы с дочкой поедem путешествовать! И вы, господин Альфред, с нами! Поедем втроём, да ещё прихватим с собою кое-кого из добрых друзей! – И она благосклонно подмигнула всем окружающим, так что каждый получал право надеяться, что именно его-то она и прихватит с собою. – Мы поедem в Италию, только не туда, где водятся разбойники. Будем держаться Рима, да больших дорог, где безопаснее.

Дочка слегка вздохнула. Что может заключаться в одном маленьком вздохе, или что можно вложить в него! Молодой человек вложил в этот вздох многое! Пара голубых очей осветили ему в этот вечер скрытые сокровища, богаче всех сокровищ Рима! И он оставил общество сам не свой, он... весь принадлежал красавице.

С тех пор дом вдовы, как видно, особенно полюбился господину Альфреду, скульптору; но видно было также, что он посещал его не ради самой мамыши, – хотя с нею только и вёл беседу – а ради дочки. Звали её Кала; то есть, собственно говоря, её звали Карен-Малена, а уж из этих двух имён сделали одно – Кала. Как она была хороша! «Только немножко вялая» – говорили про неё; она таки любила по утрам понежиться в постели.

– Так уж она привыкла с детства! – говорила мамаша. – Она у меня балованное дитя, а такие легко утомляются. Правда, она любит полежать в постели, зато какие у неё ясные глазки!

И что за сила была в этих ясных, синих, как море, тихих и глубоких глазах! Наш скульптор и утонул в их глубине. Он

говорил, рассказывал, а матушка расспрашивала с такою же живостью и развязностью, как и в первый раз. Ну, да и то сказать, послушать рассказы господина Альфреда было настоящим удовольствием. Он рассказывал о Неаполе, о восхождениях на Везувий и показывал раскрашенные картинки, на которых были изображены различные извержения Везувия. Вдова ни о чём таком сроду не слыхивала, ничего такого ей и в голову не приходило.

– Господи помилуй! – сказала она. – Вот так огнедышащие горы! А вреда от них не бывает?

– Как же! Раз погибли целых два города: Геркуланум и Помпея!

– Ах, несчастные люди! И вы сами всё это видели?

– Нет, извержений, что изображены на этих картинках, я не видал, но вот, я покажу вам мой собственный набросок одного извержения, которое было при мне.

И он вынул карандашный набросок, а мамаша, насмотревшись на ярко-раскрашенные картинки, удивленно воскликнула:

– Так при вас огонь был белый!

Уважение господина Альфреда к мамаше пережило критический момент, но присутствие Калы скоро придало сказанному иную окраску, – он сообразил, что матушка её просто не обладает «глазом», чутьём красок, вот и всё! Зато она обладала лучшим, прекраснейшим сокровищем, Калою.

И вот, Альфред обручился с Калою; этого и следовало ожидать. О помолвке было оповещено в местной газете. Мамаша достала себе тридцать номеров, вырезала печатное оповещение и разослала его в письмах друзьям и знакомым. Жених с невестой были счастливы, мамаша тоже; она, по её словам, как будто роднилась с самим Торвальдсеном!

– Вы, ведь, его преемник!

И Альфред нашёл, что она сказала довольно умную вещь. Кала не говорила ничего, но глаза её сияли, улыбка не сходила с уст, каждое движение дышало пленительною грацией. Как она была хороша, как хороша!..

Альфред вылепил бюсты Калы и мамы. Они сидели перед ним и смотрели, как он мял и сглаживал мягкую глину.

– Это вы ради нас взялись сами за эту грубую работу! – сказала мамаша. – Пусть бы мальчик мял глину!

– Нет, мне необходимо лепить самому! – сказал он.

– Ну, да, ведь, вы всегда так любезны! – сказала матушка, а дочка тихонько пожала ему руку, запачканную в глине.

Во время работы Альфред выяснял им красоты природы и всего мироздания, превосходство живого создания перед мёртвым, растения перед минералом, животного перед растением, человека перед животным; объяснял, что скульптор воплощает высшее проявление красоты в земных образах.

Кала молчала, убаюканная его речами, а мамаша изрекла:

– Трудно, знаете, уследить за вашими словами! Но хоть я и медленно соображаю, а мысли так и жужжат у меня в голове, я всё-таки держу их крепко.

И его тоже крепко держала красота; она наполняла все его помыслы, завладела им всецело. Красотой дышало всё существо Калы – и глаза, и ротик, даже каждое движение пальчиков. Всё это было по части скульптора, и он говорил только о красавице, думал только о ней; оба они составляли теперь одно, поэтому много говорила и она, раз говорил много он.

Так прошёл день помолвки, затем настал и день свадьбы: явились подружки невесты, пошли подарки, о которых было упомянуто в поздравительных речах, словом – всё как водится.

Мамаша поместила за свадебным столом, в качестве почётного гостя, бюст Торвальдсена в шлафроке^[21], – это была её собственная идея. Пели задравные песни, осушали задравные тосты, весёлая была свадьба и чудесная парочка! «Пигмалион обрёл свою Галатею» – говорилось в одной из песен.

– Ну, это что-то из мифологии! – сказала мамаша.

На другой день молодая чета отправилась в Копенгаген; мамаша с ними – взять на себя грубую часть семейной жизни, хозяйство. Кала пусть живёт, как в кукольном домике! Всё так чисто, ново, уютно! Ну, вот, наконец, все трое и сидели в своём домике; Альфред, тот сидел, по пословице, «словно епископ в гусином гнезде».

Его околдовала красота форм, он глядел только на футляр, а не на то, что в нём, а это большой промах, особенно, если дело идёт о браке! Износится футляр, сотрётся позолота, и пожалеешь

о покупке. Очень неприятно заметить в гостях, что у тебя оторвались пуговицы у подтяжек, что пряжки ненадёжны, что их совсем нет, но ещё неприятнее замечать, что жена твоя и тёща говорят глупости, и не быть уверенным, что всегда найдёшь случай затушевать глупость остроумной шуткой.

Часто молодая чета сидела рука в руку; он говорил, она изредка роняла слово, – тот же тон, те же два, три мелодичных звука... София, подруга новобрачной, вносила с собою в дом освежающую струю воздуха.

София красотой не отличалась, но и особенных физических недостатков не имела. Правда, она была слегка кривобока, по словам Калы, но это было заметно лишь на глаз подруги. София была девушка умная, но ей и в голову не приходило, что она может стать «опасною». Она вносила в кукольный домик струю свежего воздуха, а здесь таки чувствовался в нём недостаток. Все понимали это, всем хотелось проветриться, и решили проветриться: тёща и молодые новобрачные отправились в Италию. – Слава Богу, вот мы и дома опять! – сказали мамаша и дочка, вернувшись через год, вместе с Альфредом, на родину.

– Ничего нет хорошего в путешествии! – говорила мамаша. – Даже скучно! Извините за откровенность! Я просто соскучилась, хоть со мною и были мои дети. И как это дорого, как дорого! Все-то галереи надо осмотреть, всё обегать! Нельзя же, – приедешь домой, спросят обо всём! И всё-таки, в конце концов, узнаешь, что самого-то лучшего и не видали! А эти бесконечные, вечные мадонны надоели мне, вот до чего!.. Право, того и гляди, сама станешь мадонной!

– А стол-то! – говорила Кала.

– Даже порядочного бульона не достанешь! – подхватывала мамаша. – Просто беда с их стряпнёй!

Кала была очень утомлена путешествием, сильно утомлена и – что хуже всего – долго не могла оправиться. София переселилась к ним совсем и была очень полезна в доме.

Мамаша отдавала Софии полную справедливость, – она была весьма сведущей в хозяйстве и в искусстве, во всём, отдалась чему она до сих пор не могла за неимением собственных средств. Вдобавок, она была девушка вполне порядочная, искренне

преданная, что и доказала во время болезни и полной беспомощности Калы.

Если футляр – всё, то футляр и должен быть прочен, не то беда; так оно и вышло – Кала умерла.

– Как она была хороша! – говорила мамаша. – Не то, что антики; те все с изъянами, а Кала была цельная! Вот это настоящая красота!

Альфред плакал, мамаша тоже; оба надели траур. Чёрный цвет особенно шёл к мамаше, и она носила его дольше, дольше и грустила, тем более, что грусть её нашла новую пищу: Альфред женился на Софии, не отличавшейся внешностью.

– Он ударился в крайность! – говорила мамаша. – От красоты перешёл к безобразию! И он мог забыть свою первую жену! Вот вам мужское постоянство! – Нет, мой муж был не таков! Он и умер-то прежде меня!

«Пигмалион обрёл свою Галатею», так говорилось в свадебной песне! – сказал Альфред. – Да, я, в самом деле, влюбился в прекрасную статую, которая ожила в моих объятиях. Но родственную душу, которую посылает нам само Небо, одного из тех ангелов, что живут одними чувствами, одними мыслями с нами, поддерживают нас в минуты слабости – я обрёл только теперь. Тебя, София! Ты явилась мне не в ореоле внешней красоты, но ты добра и красива даже более, чем это необходимо! Суть всё же остаётся сутью! Ты явилась и научила скульптора, что творение его только глина, прах, оболочка внутреннего ядра, которое нам следует искать прежде всего. Бедная Кала! Наша совместная жизнь прошла, как свадебная поездка. Там, где встречаются родственные души, мы, быть может, окажемся чуждыми друг другу.

– Ну, это нехорошо с твоей стороны говорить так! – возразила София. – Не по-христиански! Там, на небе, где не женятся и не выходят замуж, но где, как ты говоришь, встречаются родственные души, где всякая красота развёртывается в полном блеске, её душа, может быть, расцветёт так пышно, что совсем затмит меня, и ты опять воскликнешь, как в первом любовном порыве: «Как хороша! Как хороша!»

^[1]Каспар Гаузер – известный своей таинственной судьбой найдёныш.

^[2]Шлафрок – устар. домашний халат.

✘ ✘ ✘ ✘ ✘

✘ Загрузка...

Сказки Ханса Кристиана Андерсена. Дворовый петух и флюгерный



Стояли два петуха; один на навозной куче, другой на крыше, но спесивы оба были одинаково. Кто же из них совершил больше? Ну, кто, по-твоему? Скажи, а мы... всё-таки останемся при своём мнении.

Птичий двор был отделён от другого двора деревянным забором, а на том дворе была навозная куча, и на ней рос большой огурец, сознававший, что он – растение парниковое.

«А таковым нужно родиться!» рассуждал он сам с собою. «Но не

всем же родиться огурцами, надо существовать и другим живым породам. Куры, утки и всё население птичьего двора тоже, ведь, создания Божии. Вот, дворовый петух стоит на заборе. Он будет почище флюгерного! Тот хоть и высоко сидит, а даже и скрипеть не может, не то, что петь! Нет у него ни кур, ни цыплят, он занят только самим собою и потеет ярь-медянкой^[1]! Нет, дворовый петух, вот это так петух! Как выступает!словно танцует! А запоем – что твоя музыка! Как начнёт, так узнаешь, что значит настоящий трубач! Да, приди он сюда, проглоти меня целиком – вот была бы блаженная смерть!»

Ночью разыгралась непогода; куры, цыплята и сам петух – все попрятались. Забор повалило ветром; шум, треск!.. С крыши попадали черепицы, но флюгерный петух усидел. Он даже с места не двигался, не вертелся, – он не мог, хоть и был молод, недавно отлит. Флюгерный петух был очень разумен и степенен, он уж так и родился стариком и не имел ничего общего с лёгкими птичками небесными, воробьями и ласточками, которых презирал, как «ничтожных, вульгарных пискуний». Голуби – те побольше, и перья у них отливают перламутром, так что они даже немножко смахивают на флюгерных петухов, но толсты и глупы они ужасно! Только и думают о том, как бы набить себе зобы! Прескучные создания! Перелётные птицы тоже навещали флюгерного петуха и рассказывали ему о чужих странах, о воздушных путешествиях, о разбойничьих нападениях хищных птиц... Это было ново и интересно – в первый раз, но затем пошли повторения одного и того же, а это куда, как скучно! Надоели ему и птицы, надоело и всё на свете. Не стоило ни с кем и связываться, все такие скучные, пошлые!..

– Свет никуда не годится! – говорил он. – Всё – одна ерунда! Флюгерный петух был, что называется, петухом разочарованным и, конечно, очень заинтересовал бы собою огурец, знай тот об этом, но огурец был занят одним дворовым петухом, а этот как раз и пожаловал к нему в гости.

Забор был повален ветром, но гром и молния давно прекратились. – А что вы скажете о ночном петушином крике? – спросил у куриц и цыплят дворовый петух. – Грубоват он был, ни малейшего

изящества!

За петухом взобрались на навозную кучу и куры с цыплятами; петух двигался вперевалку, как кавалерист.

– Садовое растение! – сказал он огурцу, и последний сразу уразумел высокое образование петуха, и даже не заметил, что тот клюёт и поедает его.

«Блаженная смерть!»

Подбежали куры и цыплята, – куры, ведь, всегда так: куда одна, туда и другая. Они кудахтали, пищали, любовались на петуха и гордились, что он из их породы.

– Ку-ка ре-ку! – запел он. – Цыплята сейчас сделаются большими курами, если я провозглашу это в мировом курятнике!

Куры и цыплята закудахтали и запищали. А петух объявил великую новость:

– Петух может снести яйцо! И знаете, что в нём? Василиск! Никто не может вынести его вида! Люди это знают, а теперь знаете и вы, знаете, что есть во мне, знаете, что я из петухов петух!

И дворовый петух захлопал крыльями, поднял гребешок и опять запел. Куриц и цыплят даже озноб прошиб, но как им было лестно, что один из их семейства – петух из петухов! Они кудахтали и пищали, так что даже флюгерному петуху было слышно, но он и не шевельнулся.

– Всё ерунда! – говорил он сам себе. – Никогда дворовому петуху не снести яйца, а я – не хочу! А если бы захотел, я бы снёс ветряное яйцо! Но мир не стоит ветряного яйца! Всё ерунда!.. Я и сидеть-то здесь больше не хочу!

И флюгерный петух переломился и слетел вниз, но не убил дворового петуха, «хоть и рассчитывал на это», как уверяли куры.

Мораль?

«Лучше петь петухом, чем разочароваться в жизни и переломиться!»

^[1]Ярь-медянка – ярко-зелёная краска



 Загрузка...

Сказки Ханса Кристиана Андерсена. Перо и чернильница

Кто-то сказал однажды, глядя на чернильницу, стоявшую на письменном столе, в кабинете поэта: «Удивительно, чего-чего только ни выходит из этой чернильницы!.. А что-то первое выйдет из неё теперь?.. Да, поистине удивительно!»

– Именно! Это просто непостижимо! Я сама всегда это говорила! – обратилась чернильница к гусиному перу и другим предметам на столе, которые могли её слышать. – Замечательно, чего только ни выходит из меня! Просто невероятно даже! Я и сама, право, не знаю, что первое выйдет, когда человек опять начнёт черпать у меня! Одной моей капли достаточно, чтобы исписать полстраницы, и чего-чего только ни уместится на ней! Да, я нечто замечательное! Из меня выходят всевозможные поэтические творения! Все эти живые люди, которых узнаю другие, эти искренние чувства, юмор, дивные описания природы!.. Я и сама не возьму в толк, – я, ведь, совсем не знаю природы – как всё это вмещается во мне? Однако же, это так! Из меня вышли и выходят все эти воздушные, грациозные девичьи образы, отважные рыцари на фыркающих конях, и кто там ещё?.. Уверяю вас, всё это я выпускаю из себя просто бессознательно!

– Конечно! – сказала гусиное перо. – Если бы вы отнеслись к делу сознательно, вы бы поняли, что вы только сосуд с жидкостью. Вы смачиваете меня, чтобы я могло высказать и выложить на бумагу то, что ношу в себе! Пишет перо! В этом не сомневается ни единый человек, а полагаю, что большинство людей понимают в поэзии не меньше старой чернильницы!

– Мало же вы опыты! – возразила чернильница. – Вы состоите на

службе всего неделю и уж почти совсем износились. Так вы воображаете, что это вы творите? Вы только слуга, и много вас у меня перебивало – и гусиных и английских стальных! Да, я отлично знакома и с гусиными перьями и со стальными! И много вас ещё перебивает у меня в услужении, пока человек будет продолжать записывать то, что почерпает из меня!

– Чернильная бочка! – сказало перо.

Поздно вечером вернулся домой поэт; он пришёл с концерта скрипача-виртуоза и весь был ещё под впечатлением его бесподобной игры. В инструменте виртуоза, казалось, был неисчерпаемый источник звуков: то как будто катились, звеня, словно жемчужины, капли воды, то щебетали птички, то ревела буря в сосновом бору... Поэту чудилось, что он слышит плач собственного сердца, выливавшийся в мелодии, похожей на гармоничный женский голос; звучали, казалось, не только струны скрипки, но и все её составные части. Удивительно, необычайно! Трудна была задача скрипача, и всё же искусство его смотрело игрою, смычок словно сам порхал по струнам; всякий, казалось, мог сделать то же самое. Скрипка пела сама собою, смычок играл сам собою, вся суть как будто была в них, мастер же, управлявший ими, влагавший в них жизнь и душу, забывался. Но не забыл о нём поэт и написал вот что:

«Как безрассудно было бы со стороны смычка и скрипки кичиться своим искусством. А как часто делаем это мы люди, поэты, художники, учёные, изобретатели, полководцы! Мы кичимся, а, ведь, все мы – только инструменты в руках Создателя. Ему одному честь и хвала! А нам гордиться нечем!»

Так вот что написал поэт и озаглавил свою притчу «Виртуоз и инструмент».

– Что, дождались, сударыня? – сказало перо чернильнице, когда они остались одни. – Слышали, как он прочёл вслух то, что я написало?

– То-есть то, что вы извлекли из меня! – сказала чернильница.

– Вы вполне заслужили этот щелчок своею спесью! А вы-то и не понимаете, что над вами посмеялись! Я дала вам этот щелчок из собственного нутра. Уж позвольте мне узнать свою собственную сатиру!

– Чернильная душа! – сказало перо.

– Гусь лапчатый! – ответила чернильница.

И каждый сознавал, что ответил хорошо, а такое сознание вещь хорошая; с таким сознанием можно спать спокойно, они и заснули. Но поэт не спал; мысли волновались в нём, как звуки скрипки, катились жемчужинами, шумели, как буря в лесу, и он слышал в них голос собственного сердца, чуял проявление Самого Творца...

Ему одному честь и хвала!

✘ ✘ ✘ ✘ ✘

✘ Загрузка...

Сказки Ханса Кристиана Андерсена. На могиле ребёнка



В доме воцарилась печаль; все сердца были полны скорби, младший ребёнок, четырёхлетний мальчик, единственный сын, радость и надежда родителей, умер. Правда, у них оставались ещё две дочери, – старшая должна была в этом году

конфирмоваться – славные, добрые девочки, но умерший ребёнок всегда кажется самым дорогим, а этот к тому же был самый младший, да ещё сын. Да, тяжёлое испытание выпало на долю родителей! Сестры печалились, как и вообще юные сердца, главным образом, глядя на скорбь родителей; отец грустил, но мать совсем была подавлена горем. День и ночь ухаживала она за больным ребёнком, лелеяла его, подымала и носила на руках; страдала, ведь, её собственная плоть и кровь, часть её самой! Она не могла и представить себе, что дитя её умрёт, что его положат в гроб и заруют в землю! Господь не мог отнять у неё ребёнка – думала она – и вот, когда это всё-таки случилось, она в порыве болезненного отчаяния воскликнула:

– Господь не знает об этом! У него бессердечные слуги здесь на земле. Они делают, что хотят, не внимая мольбам матери!

В своем отчаянии она отшатнулась от Бога, и ею овладели мрачные мысли, мысли о вечной смерти, внушавшие ей, что человек становится прахом во прахе и что этим всё кончается. Охваченная такими мыслями, она утратила всякую точку опоры и всё больше и больше погружалась в мрачную бездну отчаяния.

Слёз у неё в эти тяжёлые часы не было. Она не думала больше о юных дочерях; слёзы мужа падали ей на лоб, но она и не замечала его. Все её мысли были заняты умершим ребёнком, она жила только воспоминаниями о нём, старалась воскресить в памяти каждое его невинное детское слово.

Наступил день похорон; несколько ночей перед тем мать не спала, и к утру усталость одолела её – она забылась сном. В это время гроб унесли в отдалённую комнату, чтобы мать не услышала ударов молотка, когда стали забивать крышку.

Проснувшись, мать хотела опять посмотреть на ребёнка, но муж со слезами сказал ей:

– Мы забили крышку; пора было.

– Если Бог так жесток ко мне, – промолвила она: – то чего же ожидать от людей! – И она залилась слезами.

Гроб опустили в могилу; безутешная мать сидела с дочерьми и смотрела на них, не видя их; мысли её отшатнулись от семьи, от дома; она предалась скорби и стала её игрушкой, как становится игрушкой волн корабль без руля и парусов. Так прошёл день

похорон, за ним потекли однообразные, тяжёлые, скорбные дни. Со слезами на глазах, печально смотрели на мать домашние, – она не слушала их утешений, да и какие утешения могли они предложить ей, – они сами были в такой горе.

Сон, казалось, совсем покинул её, а он один мог бы оказать ей лучшую услугу, подкрепив тело и успокоив душу. Домашние уговаривали её лечь в постель, она слушалась и лежала тихо, словно спала. Но однажды ночью муж прислушался к её дыханию, и ему показалось, что она действительно нашла, наконец, покой и облегчение во сне. Он набожно сложил руки, помолился и скоро заснул сам здоровым, крепким сном. Он не слышал, как она поднялась, накинула на себя платье и тихонько вышла из дома, чтобы направиться туда, куда день и ночь влекли её мысли – на могилу своего ребёнка. Она прошла через сад, прилегавший к дому, в поле и свернула на тропинку, которая вела за город, на кладбище. Никто не видал её, и она никого.

Стояла чудная, ясная звёздная ночь. Воздух был ещё так мягок, сентябрь только начался. Мать вошла на кладбище и остановилась у могилки, похожей скорее на большой букет благоухающих цветов. Опустившись на колени, она припала лицом к могиле, словно надеясь увидеть сквозь толстый земляной покров своего мальчика. Как живо помнила она его улыбку, любовное выражение глаз! Они были всё те же даже на одре болезни! Не забыть ей их никогда! Как много говорил его взор, когда она наклонялась к нему и брала его за руку, которую сам он уже не в силах был приподнять!.. И вот, как прежде, бывало, сидела она возле его кровати, так теперь сидела у его могилки! Но теперь она могла дать полную волю своим слезам, и они ручьём бежали на могилу.

– Хочешь туда, к твоему ребёнку? – раздался возле неё чей-то голос. Он прозвучал так ясно и так глубоко отозвался в её сердце. Она оглянулась; возле неё стояла человеческая фигура, закутанная в длинный чёрный плащ, с капюшоном на голове. Она заглянула в её лицо: оно было строго, но внушало доверие, глаза горели чисто юношеским огнём.

– К моему ребёнку! – повторила с отчаянной мольбой мать.

– Осмелишься ли ты последовать за мною? – спросило видение. – Я смерть!

Мать утвердительно кивнула головой. В то же мгновение ей показалось, что каждая звезда над нею вспыхнула, словно полная луна, и осветила разноцветный цветочный ковёр на могиле; затем земляной покров мягко осел под нею, точно развевавшийся по воздуху покров, и она стала погружаться в землю. Видение накрыло её своим чёрным плащом, и вокруг неё воцарился могильный мрак. Мать опустилась глубже, чем проникает могильный заступ; кладбище легло кровлей над её головой.

Плащ отодвинулся в сторону. Мать очутилась в огромном, приветливом покое. Здесь царил какой-то полусвет, но она в то же мгновение почувствовала, что прижимает к сердцу своего ребёнка. Он улыбался ей, сияя новою, незнакомою ей красотой; она вскрикнула, но крика её не было слышно: возле неё, то удаляясь, то приближаясь, раздавалась чудная музыка. Никогда в жизни не слыхала она таких дивных звуков; они раздавались за чёрною плотною занавесью, отделявшею этот покой от великой страны вечности.

– Мамочка! Милая моя мамочка! – услышала она голос своего ребёнка. Это был его милый, знакомый ей голос! Поцелуи сыпались за поцелуями; мать не помнила себя от радости, но дитя указало на чёрную занавесь.

– Как там чудесно! Не так, как на земле! Видишь мама! Видишь их всех, блаженных?

И мать смотрела туда, куда указывал ребёнок, но не видела ничего, кроме чёрной мглы; она смотрела, ведь, телесными очами, а не так, как ребёнок, отозванный Богом к Себе. Мать слышала звуки, но не могла уразуметь слов, которые бы могли вернуть ей веру.

– Теперь я умею летать, мама! – сказало дитя. – Могу улететь вместе с другими добрыми детьми прямо к Богу! Мне очень хочется лететь к Нему, но если ты будешь так плакать, я не могу оставить тебя! А мне очень хочется! Можно, ведь? Ты и сама скоро придёшь ко мне, мамочка!

– О, побудь, побудь со мною! – молила она. – Ещё минутку! Дай ещё разок взглянуть на тебя, поцеловать тебя, прижать к сердцу!

И она крепко прижимала его к себе, осыпая поцелуями. Вдруг,

кто-то сверху окликнул её по имени; жалобно звучал призыв. Кто бы это звал её?

– Слышишь? – сказало дитя. – Это папа зовёт тебя!

Через несколько секунд слышались глубокие вздохи, словно всхлипывали дети.

– Это сёстры плачут! – сказал ребёнок. – Мама, ты, ведь, не забыла их!

Она вспомнила покинутых ею на земле, и ужас охватил её; она стала пристально вглядываться в пролетавшие мимо неё тени, и ей показалось, что она узнала некоторые. Они пролетали через покой смерти и скрывались за чёрною занавесью. Что если она увидит тут и мужа, и дочерей своих? Нет, их призывы и вздохи раздавались ещё там, наверху. Она чуть было совсем не забыла их ради умершего!..

– Мама, зазвонили небесные колокола! Мама, встаёт солнышко! – сказал ребёнок.

Навстречу ей хлынул ослепительный поток света, дитя исчезло, а она поднялась наверх... Холод охватил её, она подняла голову и увидела, что лежит на кладбище, на могиле своего ребёнка, – Бог во сне послал ей утешение и поддержку, просветил её разум. Она пала на колени и сказала:

– Прости меня, Господи, что я хотела остановить полёт бессмертной души, забыла свой долг к живым, долг, который возложил на меня Ты! – Молитва облегчила её душу. А тут взошло солнце, над головой её запела птичка, колокола зазвонили к заутрени... Как чудесно стало вокруг! И святой мир водворился в её душе. Она познала Бога и свой долг, и поспешила домой. Вот она наклонилась над мужем, разбудила его горячим поцелуем, и из уст её полились тёплые, сердечные слова, полные мужества и утешения. Она, как и подобает мужественной и крепкой духом супруге, открыла для него в своём сердце источник утешения.

«Божья воля всё направляет к лучшему!»


И муж спросил её:

– Где почерпнула ты эту силу утешения?

Она поцеловала его, поцеловала дочерей и ответила:

– Бог послал мне её на могиле моего ребёнка!



 Загрузка...